

А.А.БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

РЕВЕЛЬСКИЙ
ТУРНИР

РЕВЕЛЬСКИЙ
ТУРНИР

А.А.БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ

А·А·БЕСТУЖЕВ-
МАРЛИНСКИЙ



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984

P1
Б53

Составление, вступительная статья
и примечания **В. И. Сахарова**

Художник **В. Н. Ходоровский**

Б $\frac{4803010101-032}{М-105(03)84}224-84$

© Издательство «Советская Россия». 1984 г.,
составление, вступительная статья и примечания.

ЧУДЕСНАЯ ЖИВОСТЬ

*А. А. Бестужев-Марлинский
и его проза*

Судьба замечательного русского писателя-декабриста Александра Александровича Бестужева-Марлинского (1797—1837) связана с интереснейшим периодом в истории отечественной литературы — эпохой романтизма. Более того, можно смело утверждать, что цельная, мужественная натура Бестужева и его удивительная, полная подвигов и приключений жизнь стали символом высокого романтизма, отразили в себе мятежную стихию свободного и гордого человеческого духа и непростое движение того героического времени. И это обстоятельство превращает жизнеописание писателя в интереснейший человеческий документ, показавший пути развития русской жизни на протяжении первой трети XIX столетия.

Такие замечательные русские характеры рождались не на пустом месте, их питало великое XVIII столетие, героический век Суворова, Фонвизина и Державина.

Александр Бестужев был сыном храброго воина и образованного литератора, воспринявшего передовые идеи А. Н. Радищева и его учеников. Он и его братья родились и выросли в семье просвещенной и получили воспитание строгое и вместе с тем свободное, основанное на духовной дисциплине, взаимном доверии и уважении детей и родителей. Стараниями отца петербургский дом Бестужевых был превращен в музей, где собраны были редкости России и Европы, картины и гравюры, модели крепостей и красивейших зданий, коллекции сибирских минералов. С замечательным вкусом подобранная домашняя биб-

лиотека состояла из множества русских и иноязычных книг, и там маленький Александр проводил большую часть времени, сидя в вольтеровских креслах с томиком Шиллера или же рыцарским романом в руках. Любовь его к книгам и чтению была такова, что в семье он получил прозвище «прилежный Саша» и что отцу порой приходилось отбирать у мальчика ключи от библиотечных шкафов. Слушание вечерних бесед просвещенных литераторов, ученых и людей искусства, бывавших в гостях у отца, также способствовало воспитанию и образованию мальчика, который к тому же проявил немалые способности к рисунку и уже брал домашние уроки у профессоров Академии художеств, и страсть эта к точной и злой карикатуре превратилась потом в настоящее призвание, иногда доводившее гвардейского офицера Бестужева до дуэлей с жертвами его остроумного искусства.

Однако увлечение книгами не сделало юного Сашу Бестужева домоседом, бледным и скучным зубрилой. Это был рослый, сильный белокурый мальчик, отличавшийся безыскусственной живостью и впечатлительностью, всеобщий любимец, весельчак и заводила всех детских игр, возглавлявший отряд маленьких удалцов на дачах Крестовского острова и совершавший с ними опасные и увлекательные походы на лодках и плотах. Его решительность и находчивость позволяли видеть в нем в будущем отличного офицера. Вместе с тем трогательная любовь Александра к родителям и многочисленным братьям и сестрам говорила о натуре доброй и открытой. Эти качества, воспитанные в дружной семье Бестужевых, он сохранил до конца, поддерживая братьев, разделавших с ним судьбу узника и изгнанника после поражения восстания декабристов.

По семейной традиции братьев Бестужевых прочили в военную службу. Александра отдали учиться в Горный кадетский корпус, и ему предстояло стать горным инженером. Однако сам он, увлеченный примером отца и старшего брата Николая, жаждал стать военным моряком.

Свободная морская стихия с ее вечной красотой и поэзией покорила Бестужева с детства. Коренной петербуржец, он вырос на воде, привык к лодке, парусу и веслам. Братья его учились в Морском кадетском корпусе и увлекли юного Александра в двухмесячное крейсерское плавание на военном фрегате между Кронштадтом и Петербур-

гом. Юноша был потрясен: «Двухмесячного плавания в море было достаточно, чтоб произвести сильное впечатление на его восприимчивую душу. Он окунулся в новый для него мир неведомых доселе красот природы и душевных потрясений и, увлекаемый обаятельной силой, не противился влечению».

Александр скоро стал заправским матросом, быстро овладел всеми секретами морского дела, вместе с кадетами ставил паруса и ловко управлял шлюпкой в крепкий ветер. Вернувшись домой, он построил точную копию своего фрегата и бредил морем. «Для моей души необходим свет божий, широкое раздолье и свобода. Море может только дать все это... Ах! как прекрасно море!» — восклицал молодой моряк. Он готов был по примеру братьев пойти в морские офицеры и даже бросил свои скучноватые занятия в Горном корпусе. Но, убоявшись точных наук, отступился от этой юношеской мечты и поступил в лейб-драгуны. На Сенатской площади героический декабрист Бестужев и его братья стояли в одних рядах с восставшими моряками Гвардейского экипажа.

С морем связаны и последние дни жизни писателя, участвовавшего в освобождении Черноморского побережья Кавказа. Ссылный Марлинский принял участие в морском десанте русских войск у мыса Адлер. В ночь перед высадкой он пытался шутить, сочинил две солдатские песни, но все же был полон неясных предчувствий, задумчиво бродил по палубе фрегата «Анна», написал духовное завещание. Предчувствия не обманули писателя: он шел в первых рядах десанта и в отчаянной рукопашной схватке на берегу был ранен двумя пулями в грудь и изрублен горцами. Черноморское побережье стало, как и предсказал сам Марлинский в повести «Он был убит», его поэтической, живописной могилой.

Но море не было для писателя Александра Бестужева одной только живописной деталью биографии, географической достопримечательностью. Бестужев жил и творил в эпоху романтизма, и эпоха эта выработала свое особое воззрение на море.

Вечно свободная и прекрасная морская стихия стала одной из главных тем писателей-романтиков. Певцом моря был Байрон, вольнолюбивый поэт и борец за свободу Греции. Вслед за ним воспел море молодой Пушкин. Море очаровывало, одушевляло писателей и поэ-

тов, унося их фантазию в бесконечные дали. Оно было символом свободы, вечного движения жизни, давало человеку возможность ощутить мощь и красоту природы. Его бури соответствовали порывам души, силе человеческих страстей, о которых заговорили писатели-романтики. Вечная борьба человека со стихией волн возвышала его, способствовала самопознанию, давала простор мечте.

И для Марлинского море было такой поэтической страной, не только живописным фоном для его персонажей, но и действующим лицом его «морских» романтических повестей «Лейтенант Белозор» (1830), «Фрегат «Надежда» (1832), «Мореход Никитин» (1834).

Произведения эти составляют важную часть богатейшего творческого наследия писателя-декабриста. К ним вел Александра Бестужева долгий и трудный жизненный и литературный путь — от юношеской влюбленности в корабль и море через декабрьское восстание 1825 года, его разгром, сибирскую ссылку и тягостную и унижительную кавказскую солдатчину, опаснейшие приключения, кровь и смерть к всероссийской славе и званию знаменитого отечественного литератора. Изгнанника Марлинского знала и любила вся читающая Россия пушкинской поры.

* * *

Путь в литературу начался для Александра Бестужева в самом начале 1820-х годов.

То было время великое и незабвенное. После победоносной Отечественной войны 1812 года Россия вступила в новую историческую эпоху. Сокрушив наполеоновскую Францию и ее союзников, она выдвинулась в число первых держав мира и стала играть ведущую роль в мировой политике, определять судьбы Европы.

В передовом русском обществе началась эпоха расцвета национального самосознания, общего восхищения великим подвигом народа, росло стремление постичь причины и последствия этой всемирно значимой победы, в которую внесли свой вклад все народы, населявшие тогда нашу страну. Восхищаясь могуществом своей Родины и героизмом армии и народа, лучшие люди России, и прежде всего молодые офицеры, прошедшие со своими войсками от Москвы до Парижа, видели вместе с тем, что их страна осталась самодержавной и крепост-

нической. Эта двойственность и наложила характерный отпечаток на все дальнейшее развитие русской общественной жизни и культуры. Отсюда берет начало революционное движение офицеров-декабристов, одним из ярких представителей которого стал Александр Бестужев.

Первое десятилетие после Отечественной войны 1812 года стало порой стремительного развития русской литературы. В это время окончательно оформилось главное направление этой литературной эпохи — романтизм.

Романтизм в России, как и в Западной Европе, рождался на грани двух эпох, он был потрясенным свидетелем гибели старого мира и деятельным участником установления нового порядка в сфере политических идей, государственного устройства, экономики, науки и культуры. И потому русским романтикам было свойственно ощущение великого перелома, порожденного Великой французской революцией 1789 года. Война 1812 года способствовала этому ощущению приближающихся великих перемен в истории России. «Романтическое является во всякую эпоху, только что вырвавшуюся из какого-либо сильного морального переворота, в переходные моменты сознания», — отмечал поэт и критик Аполлон Григорьев, говоря о русском романтизме как детище революционной эпохи и патриотического подъема.

Очевидно, что особые социальные и культурные условия, в которых оформлялась литература русского романтизма, предопределили ее своеобразие, особый путь развития. Развитие это совпадает с общим расцветом отечественной культуры. В этом непростом процессе русские романтики были главной движущей силой, из их рядов вышли все выдающиеся деятели той эпохи — от Жуковского до М. Глинки, от Рыльева и юного Пушкина до собирателей и исследователей отечественного фольклора П. В. Киреевского и В. И. Даля. Романтики деятельно участвуют в разработке русского литературного языка, поэзии, прозы, драматургии, критики и науки о литературе. Созидательной, плодотворной была и их работа в сфере философии, эстетики, журналистики, музыки, музыкальной критики и теории.

Излюбленная идея романтиков — это мысль о вольности, понимаемой ими как свобода не только творческая, но и политическая.

Романтизм впервые обратил всеобщее внимание на самоценную человеческую личность, ее суверенные права, глубины духа, тайны

сердца, ее вечное борение с противоречиями мира и порывы к высокому и прекрасному. Он раскрепощал человека духовно, признал его права и самостоятельность, поэт же сделал свободным певцом свободного человека. Однако речь здесь шла не об абсолютной свободе, не об анархическом своеволии в жизни и литературе. Романтики создали целую систему положительных идеалов и стремились к их воплощению в своем творчестве.

Романтики декабристского лагеря Н. И. Тургенев, К. Ф. Рылев, А. А. Бестужев, В. К. Кюхельбекер жаждали революционного преобразования русской жизни, освобождения угнетенного народа, утверждения политических свобод, конституции. Отсюда их взгляд на литературу как на сферу общественной мысли, обязанную служить идее вольности и протестовать против деспотизма и угнетения. С этой точки зрения поэт видится гражданином, трибуном, борцом.

Писатели-декабристы находят свои идеалы вольности в истории республиканского Рима, древних славян, Новгорода и Пскова, в борьбе русского народа с иноземными захватчиками. Как и все романтики, они требуют народности в литературе, но их идеал народности — это суровая, сильная душа древнего вольного славянина, отстаивающего свою свободу, российский Брут. Декабристской литературе присущ героический энтузиазм, ее персонажи — бунтари, мученики, герои народной борьбы за свободу и национальную независимость. Потому-то так характерен их интерес к только что появившимся томам «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

И Александр Бестужев был тогда почитателем и последователем известнейшего писателя и историка. Бестужевский очерк «Поездка в Ревель» (1821), его первое «морское» произведение, следует за «Письмами русского путешественника» Карамзина. Но следует обратить внимание на особенность этого влияния: ранние прозаические опыты писателя несут на себе явные следы воздействия именно «Истории государства Российского» Карамзина, а не его исторических повестей. Так, повесть «Изменник» основана на знаменитом «Сказании» выдающегося писателя XVII века Авраамия Палицына.

Ранние бестужевские повести из древнерусского и средневекового рыцарского быта усеяны ссылками на «Историю» Карамзина и старинные летописи и хроники и повествовали о новгородской вольности и

героях борьбы за независимость России. Интерес молодого писателя к прошлому России породил и его интерес к стилю историка. Художественная проза Бестужева рождалась тогда из исторического повествования Карамзина, и это видно в ранних повестях писателя.

Конечно, фигурный, неровный слог прозы романтика А. Бестужева мало похож на торжественные, размеренные фразы историографа Карамзина, но стиль этот возникает в бестужевской прозе как следствие творческой полемики с карамзинским повествованием. Критика тогда верно говорила о Бестужеве и стиле его прозы: «Он начал заводить и кудрявить простую, гладкую речь карамзинскую».

Но сложность осваиваемого исторического материала и неразработанность языка и художественных средств русской прозы мешали проявиться живому, быстрому перу Александра Бестужева. Не способствовали этому и его обязанности гвардейского штаб-офицера и адъютанта герцога Вюртембергского и светская роль известного танцора и остроумца. Однако изобретательный автор всегда находил выход, умел писать в самых трудных и неожиданных положениях, при любом шуме и стечении народа и, случалось, среди шумного бала выбегал из зала в соседний кабинет и там стремительно набрасывал несколько страниц очередной повести или статьи. Бестужев жил тогда под Петербургом, в Петергофском дворце Марли, и отсюда его позднейший псевдоним «Марлинский». Его уже знали и ценили как прозаика и критика, в декабристских кругах любили его за открытый смелый нрав, благородство, готовность к самопожертвованию и подвигу, вольнолюбие. Всем показался интересен и блестящий и остроумный слог писателя Александра Бестужева.

Первые черты «марлиннизма», первые «бестужевские капли», как назвал этот романтический стиль учитель Бестужева Николай Иванович Греч, появились не в повестях, а там, где писатель чувствовал себя свободнее,— в его знаменитых годовых обозрениях российской словесности, помещаемых в альманахе «Полярная звезда», издававшемся самим Бестужевым и К. Ф. Рылевым.

Этот новый стиль был сразу же замечен. На него с некоторым недоумением указал Вяземский, восхищавшийся историческими повестями Бестужева. «В вашей литературной статье много хорошего, но опять та же высканность и какая-то аффектация в выражениях»,— писал он

автору. Рядовые читатели были того же мнения. М. Муханова в письме к небезызвестному писателю Михаилу Лобанову заметила по поводу критических статей в «Полярной звезде»: «Бестужев слишком много сочиняет слов».

К 1825 году Бестужев нашел и свой жанр — повесть, и свой особенный стиль повествования, но они были пока разъединены. Соединить их могло одно — современная тема. Бестужев к этому соединению стиля, жанра и темы шел (см. его «армейские» повести «Вечер на бивуаке» и «Второй вечер на бивуаке»), но 14 декабря резко прервало это движение. Александр Бестужев вывел на Сенатскую площадь восставших солдат Московского полка и поплатился за это жестоко — заключением в крепость, сибирской ссылкой, солдатской опаснейшей жизнью на Кавказе и ранней гибелью.

Сосланный в далекий Якутск, тогда городок маленький, чуждый цивилизации и знаменитый лишь взаимными доносами и склоками чиновников, Бестужев тяжело переживал декабрьскую катастрофу, казнь Рылеева и других декабристов, несчастья своих братьев и друзей, свое одиночество. Однако веселый и общительный характер и страсть к литературе вскоре взяли свое: он стал много читать, восстанавливать старые литературные связи и знакомства.

Возвращение к творчеству давалось Александру Бестужеву трудно: он понимал, что продолжение пройденного было уже невозможно в новых суровых условиях последекабрьской эпохи. «Я не знаю, что писать? Свет далек, историческое невозможно в такой глуши», — признавался Бестужев. И все же его голос, казалось, навеки замолчавший, вскоре донесся из Сибири до русских читателей. Бестужевские произведения без обозначения имени автора или под псевдонимами начинают проникать в печать.

В 1827 году Бестужеву разрешили печататься. Первые его повести «Испытание» и «Вечер на Кавказских водах» появились в журнале «Сын отечества» и «Северный архив» в 1830 году. Но это уже классические повести романтического журнала «Московский телеграф» — остросюжетные, занимательные, насыщенные стремительными диалогами, каламбурами, словесными фигурами. Здесь современная тема и витневатый стиль «марлинизма» слились, и близкий в свое время к декабристам критик Орест Сомов отметил в этих повестях «странную яркость

слога», стиль «слишком изысканный» — словом, все основные черты зрелой прозы Марлинского, окончательно сформировавшиеся по нормам эстетики журнализма, согласно требованиям редактора Н. Полевого. «Московский телеграф» стал для Бестужева главным литературным ориентиром, помогающим ему достичь своих целей и в то же время приблизиться к группе писателей-единомышленников, к влиятельному течению в литературе русского романтизма. И, окончательно определяя свое отношение к романтику Полевому и его журналу, Бестужев пишет: «Я считаю «Телеграф» лучшим журналом, по убеждению».

Именно журналу Николая Полевого и его подписчикам и читателям в немалой мере был обязан своей популярностью Александр Бестужев, известный теперь всей читающей России под псевдонимом Марлинский. По свидетельству современников, молодое поколение читателей, чьим вождем и идеологом был Н. Полевой, более всех любило и читало бестужевские повести: «Оно жадно упивалось в «Телеграфе» повестями модного писателя Марлинского, окруженного в его глазах двойною ореолою — таланта и трагической участи». Поэтому имя это в 30-е годы прошлого столетия окружено было легендами и почти всеобщим поклонением. Даже самая гибель Бестужева в отчаянной рукопашной схватке с горцами у мыса Адлер породила новые слухи и предположения — так привлекательна была эта сильная, самобытная и непосредственная натура, ставшая живым символом героического романтизма.

Александр Бестужев прожил короткую, поразительно яркую и богатую жизнь и сам говорил о ней: «В судьбе моей столько чудесного, столько таинственного, что и без походу, без вымыслов она может поспорить с любым романом Виктора Гюго». Он был человеком пылкого воображения и поступка, увлечения, непосредственного порыва, и эта черта характера видна не только в его бурной, полной приключений жизни, но и в его романтической прозе. «Мысли в тебе кипят», — писал Пушкин А. Бестужеву, определяя главное свойство его творчества. Отметим, что оригинальная натура Марлинского привлекла и внимание Лермонтова, слышавшего на Кавказе немало рассказов о погибшем писателе.

Повести Марлинского с их стремительным повествованием, головоломными приключениями, возвышенными романтическими героями,

сильными чувствами и страстями воспринимались читателями как отдельные страницы из «романа жизни» самого писателя, умевшего чувствовать сильно и непосредственно и рассказавшего об этом в своих творениях. Да и сам Марлинский говорил в повести «Фрегат «Надежда»: «Моей чернильницей было сердце».

Читающая публика вполне оценила эту пылкую откровенность, ибо чувства героев писателя были и ее чувствами. Более того, повести Марлинского оказали ощутимое влияние и на реальную русскую жизнь, ибо их героям начинали подражать, даже говорили их фигурным слогом. Лермонтов в Грушницком показал тип фанатичного читателя повестей Марлинского, всю свою жизнь выстроившего в стиле персонажей своего кумира. Позднее молодой Лев Толстой (в «Набеге») и Тургенев (в повести «Стук... стук... Стук!») также описали это характерное превращение стиля литературы «ненатового» романтизма в стиль жизни и мысли реальных русских людей, то есть в общественное явление. Для многих Марлинский стал учителем жизни, высказавшим все «тайны сердца». Он открыл для русских читателей романтический Кавказ с его дикой прекрасной природой и храбрыми, воинственными горскими племенами. В романтизме было много созерцательной мечтательности (вспомним поэзию Жуковского и его учеников), однако декабрист Марлинский увидел и показал в романтизме другое: жизненную силу и активность, вольнолюбие, героизм деятельного героя.

В поисках достойного фона для изображения бушующих страстей и увлекательных приключений Марлинский в своих повестях непрерывно менял эпохи, костюмы и место действия, стремительно перемещался из петербургских аристократических особняков на экзотический Восток, из кукольной придуманной Голландии на суровые просторы Белого моря, умело использовал в прозе воспоминания, фольклор, письма, журнальные и газетные статьи. Воображение писателя было настолько живо и смело, что он сумел, будучи на Кавказе, по одним только письмам точно воссоздать в повести «Фрегат «Надежда» все фигуры плафона Александринского театра, отделанного уже в его отсутствие. Голландия же описана Бестужевым в «Лейтенанте Белозоре» по воспоминаниям брата Николая, там побывавшего. Всюду он создает эффект присутствия, ощущение подлинности происходящего. Этот безостановочный романтический калейдоскоп красок, событий, лиц и эпох в прозе

Бестужева показывает, что писатель владел тайной занимательности, увлекательного повествования об интересных людях и их необычайных приключениях.

Недаром Марлинский начинал как почитатель и подражатель Крамзина и Вальтера Скотта, как автор исторических повестей, где свойственное раннему романтизму любование экзотикой истории; рыцарского и древнерусского быта соединилось с попытками мыслить в художественной прозе исторически, с интересом к другим национальным культурам и их развитию во времени. Однако писатель на этом не остановился, многому научился у Гюго, Бальзака и Вашингтона Ирвинга и принялся разрабатывать самые разные разновидности романтической повести — «восточную», «светскую», «армейскую». В прозе Марлинского жанр этот получил всестороннее развитие.

«Жизнь сердца» рассказана в его повестях языком фигурным и усложненным, полным затейливых острот, пестрых словесных украшений, витиеватых периодов. Пушкин, точно назвавший повести Бестужева «быстрыми» и говоривший об их «чудесной живости», определил основную особенность этого романтического стиля — стремительное, легкое, живописное повествование, быструю смену событий, занимательность, остроумный, построенный на каламбурах диалог — словесный поединок персонажей. Именно диалогу Бестужев уделял особое внимание, достигая здесь удивительной легкости и гибкости разговорного языка. Одному начинающему писателю он советовал учиться писать в гостинной: «Простая общая беседа, обыкновенный разговор... вот школа, где можно научиться выражать свои мысли и чувства». И если многим читателям и критикам стиль романтических повестей Марлинского казался излишне кудрявым и витиеватым, то сам писатель считал его естественным: «Я не притворяюсь, не ищу острот — это живой я». Эту особенность видишь сразу, читая, например, «быстрые» диалоги повести «Лейтенант Белозор».

Главной своей заслугой писатель справедливо считал именно реформу языка русской художественной прозы: «Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык и для того беру мое золото обеими руками из горы и из грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его... Я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады... Я убежден, что никто до меня не давал столько многоличности русским фразам, — и лучшее до-

казательство, что они усваиваются, есть их употребление даже в разговоре».

В романтической поэтике Марлинского проблеме повествовательного стиля, выработке художественного языка прозы подчинено все — в том числе и жанр. Сама классификация прозаических жанров производится им на основе разграничения стилей повествования. Стиль романтической повести, по мнению Марлинского, должен соответствовать законам малой прозаической формы, привлекая внимание читателей именно затейливым, неровным слогом, метафоричностью. В романе же повествование должно быть спокойным, разветвленным: «Иное дело повесть, иное роман. Мне кажется, краткость первой, не давая места развернуться описаниям, завязке и страстям, должна вцепляться в память остротами. Если вы улыбаетесь, читая ее, я доволен, если смеетесь — вдвое. В романе можно быть без курбетов и прыжков: в нем занимательность последовательная из характеров, из положений».

Автор этого фигурного стиля прозы, так и названного «марлинским», иногда впадал в манерность, неэкономные преувеличения и чрезмерную пестроту и странность выражения, против чего энергично выступали Пушкин, Белинский и многие русские писатели-романтики, и в частности В. И. Даль, писавший в 1837 году о Марлинском: «Дар его был силен, но он попал не на ту тропу; проза его так вычурна, изыскана и кудревата, что природа остается у него в одном голько этом слове, которое он часто повторяет». В этой критике, как и в последующих статьях Белинского, много справедливого, однако следует помнить и о бесспорных достижениях Марлинского в деле развития русского литературного языка. А его «быстрые» фигурные фразы и сравнения перешли тогда и в разговоры, в живую устную речь. «Его сравнения заучались, ему подражали», — свидетельствует современница.

Для истории русской романтической повести Бестужев-Марлинский — фигура первостепенно важная и характерная. Своими исканиями, открытиями и даже ошибками он многим указал дорогу в литературе. В прозе русского романтизма сложилась целая плеяда подражателей и учеников Марлинского, среди которых были и писатели с незаурядными дарованиями, пошедшие своим путем и все же сохранившие следы учения у автора «Морехода Никитина».

К урокам Марлинского не остались невнимательны молодые Го-

голь и Лермонтов. Ранняя гоголевская проза пестра, полна затейливых (именно «затейливым писателем» называл Гоголя Жуковский) словесных фигур и метафор, забавных словечек и балагурства, и это роднит ее с романтическими повестями Марлинского. Создавая свой напряженный, построенный на диалектике страстей роман «Герой нашего времени», Лермонтов опирался и на открытия Марлинского в сфере романтического психологизма.

Многочисленными прозаиками русского романтизма уроки Марлинского восприняты были как открытие непреходящей художественной ценности. Их повести, наводнившие в 30-е годы журналы и альманахи, наследуют и развивают основные черты бестужевской манеры: пестроту и бойкость, идущую от светской словесной дуэли, юмор и игру словечками и метафорами, «быстрое» красочное повествование и интерес к русской действительности, увиденной во всех ее подробностях глазами писателя-романтика. Тогдашняя критика говорила об этом влиянии Марлинского на развитие прозы следующее: «Пестрота речи показалась чрезвычайно привлекательна... Нравилось чрезвычайно это умение сказать все не просто, а как-то иначе, бросались в глаза его сравнения не верностью природе, не красотой, а своею внезапностью и странностью».

Из одной романтической повести в другую стали переходить возвышенные натуры, пламенные речи, борьба неистовых страстей, невероятные приключения, написанные в полном согласии с творческим заданием Бестужева: «Поражать нас можно только перунами, пугать только чудовищами, упоять лишь крепкой водкой. Нынче тронуть сердце значит его разорвать». Бестужев и его литературный союзник Полевой присоединяли к собственному опыту перенятые у французских «неистовых» романтиков творческие находки и обратили внимание писателей и читателей на достижения молодого Бальзака, Виктора Гюго, Жюль Жанена, Эжена Сю. Так в прозе русского романтизма сложилось целое направление, школа, где приняты были основные принципы «марлинизма».

Вождем этой романтической школы многому научился у Байрона, и прежде всего изображению внутреннего мира человека, диалектике страстей. «Я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры, схватывал в них новые проблески страстей и

страстишек», — писал о Байроне А. Бестужев и сам требовал в литературе не чувств, а страстей, не обыкновенных людей, а героев, не обыденности, а высокой трагедии. «Страсти везде одинаковы, хотя цель и выражения их различны», — считал он и в соответствии с этим правилом писал собственные повести. «Морская» проза А. Бестужева также учитывает закон «диалектики страстей».

Морской шторм и бури страстей попеременно движут этой прозой, а персонажи ее верны «закону моря» — суровому кодексу чести, товарищества, верности долгу. Александр Бестужев знал русских моряков, их замечательную цельность и силу души, спокойную храбрость, до мелочей изучил матросский и офицерский быт, устройство военного корабля и его парусного и артиллерийского вооружения, сложнейший словарь морских терминов, сигналов и словечек. Недаром он писал своему издателю и другу Н. Полевому: «Не дивитесь, что я знаю морскую технику: я моряк в молодости и с младенчества. Море было моя страсть; корабль пристрастие, и хотя я не служил во флоте, но, конечно, не поддамся лихому моряку, даже в мелочах кораблестроения». А. Бестужев пользовался и знаниями и рассказами своего брата Николая, талантливого морского офицера и изобретателя, тоже ставшего самобытным прозаиком. Все это помогло ему написать повести «Лейтенант Белозор», «Фрегат «Надежда» и «Мореход Никитин», и по сей день остающиеся замечательными явлениями русской «морской» прозы.

«Лейтенант Белозор» написан по изданным запискам и устным рассказам брата Николая, побывавшего в Голландии. Это характерная для А. Бестужева занимательная проза, где шторм и крушения сменяются романтическими приключениями и любовной интригой. Бестужев ценил стремительное действие, события, занимательность, и потому его повесть о приключениях русских моряков в далекой Голландии читается и сегодня, она остроумна, интересна, остросюжетна. Замечательны и портреты доброго голландца Саарвайерзена и хвастливого француза, капитана Монтаня. Но это не просто занимательная история.

В «Лейтенанте Белозоре» воспет русский моряк, его чувство товарищества, храбрость и верность. Офицеры и матросы нашего флота, блокировавшего вместе с англичанами побережье захваченной Наполеоном Голландии, показаны в деле, в сражениях, борьбе с морской стихией. И здесь до конца выявляются их сильные и цельные характеры.

Конечно, сам Белозор — отнюдь не адмирал Лазарев и не В. Голловин, он вполне обыкновенный офицер, человек рядовой, дюжинный, как тогда говорили. Но на таких храбрых и честных офицерах держался наш флот, они под командованием прославленных флотоводцев — стояли славу русского флага в многочисленных морских сражениях — от Наварина до Синопа и впоследствии стали героями обороны Севастополя.

А. Бестужев ввел этого рядового участника великих событий в литературу, привлек внимание читающей публики к скромному, героическому русскому моряку, который не только умел выполнять свой воинский долг, но и смог подняться, подобно Николаю Бестужеву, капитан-лейтенанту К. П. Торсону и другим морякам-декабристам, до революционной борьбы за свободу. И это было особенно важно в то время, которое так охарактеризовано в повести Бестужева «Фрегат «Надежда»: «Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку». Моряки из повестей Бестужева, равно как и офицеры и солдаты его «кавказской» прозы, напомнили читателям о доблести и славе, о подвиге самопожертвования, силе и цельности русского характера.

Бестужевская повесть-быль о мореходе Савелии Никитине гораздо более весела и прозаична, нежели романтическая трагедия «Фрегат «Надежда». И не в том даже дело, что сюжет автор взял из газеты, описал реальный факт — пленение русским купцом-мореходом английского военного корабля в 1810 году, когда англичане блокировали все порты и морские пути снабжения России. Здесь Бестужев гораздо ближе к тогдашней обыденной действительности. В его повести нет возвышенных романтических героев, страстных речей, невероятных приключений. Персонажи «Морехода Никитина» — простые люди, архангельские поморы, прирожденные моряки, они говорят без словесных завитушек и громких фраз, храбры без фанфаронства и позерства, любят без бури страстей, верно и крепко.

В этой бестужевской повести есть добрый юмор, комизм, характерные и для описания весьма серьезных ситуаций. Добродушен даже враг — капитан английского судна Турнип, любитель славно покушать, выпить и поспать на мягкой койке. В «Мореходе Никитине» показан русский матрос, его смекалка, веселый, открытый нрав, чуждая хваст-


ливости храбрость, любовь к свободе и преданность родине, звучит живая народная речь с ее свободой, затейливостью и поговорками. Здесь человек из народа оказался способен повторить подвиг легендарного князя Долгорукого, сподвижника Петра Первого, захватившего шведский корабль. Мореход Никитин победил врага военной хитростью и бесстрашием и отнесся к побежденному без злобы и жестокости, с чисто русским добродушием и юмором, посмеявшись над хвастливым англичанином. Очевидно, что повесть эта написана Александром Бестужевым в добрую минуту его трагической и многотрудной жизни.

Таких минут в жизни Марлинского было немного. Гонения и унижения, которым постоянно подвергался разжалованный в рядовые писатель-декабрист, тяготы и опасности жесточайшей кавказской войны, убийственный климат болот и беспощадная тропическая жара, ощущение безысходности — все это порой погружало его в отчаяние, и это отразилось в автобиографических страницах повести «Он был убит». Бестужев-Марлинский сетовал тогда на свою судьбу: «Даже в самой словесности она нередко делает меня работником, когда бы я мог быть художником».

И все же занятия литературой доставляли ему желанное спокойствие и надежду: «Конечно, для нашего брата очень невыгодно, что судьба мнет нас, будто волюнку, для извлечения звуков; но помиримся с ней за доброе намерение и примем в уплату убеждение совести, что наши страдания полезны человечеству, и то, что вам кажется писанным от боли, для забвения, становится наслаждением для других, лекарством душевным для многих»

Александр Бестужев-Марлинский видел в своем многогранном художественном творчестве духовное завешание, обращенное к русским читателям. Его замечательные романтические повести — важная глава творческого завешания писателя-декабриста. И сегодня они не утратили первозданной свежести и занимательности.

В. И. Сахаров



РОМАН И ОЛЬГА

Старинная повесть

I

*Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали:
Всему конец!
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить!*

Жуковский

— Этому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новгородский брату своему, — не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новугороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах, удал на игрушках военных¹ и на всё смышлен, ко всем приветлив... Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою ключей на поясе, — он беден — стало быть, не видать ему за собой

¹ Здесь и далее в книге все примечания, следующие непосредственно за текстом произведения, и подстрочные примечания, кроме *буквальных* переводов иностранных выражений, принадлежат автору. Примечания составителя см. в конце книги.

Ольги.— У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского.— Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной!— Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери? — Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтобы он не достался врагам Новгорода, тот, конечно, не променяет души на приданое! — Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь — за человека, у которого нет три-девяти снопов для брачной постели², у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него — журавли в небе.— Брат! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова³.— Да будь он потомок самого Вадима и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым.— Чудной человек! ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...— Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.— Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь! — Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романи, а ему ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новгорода.— Если б не торговые выгоды! — прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.— Да, да, если б не торговые выгоды! — отве-

чал Симеон, тронутый таким замечанием,— выгоды, которые сделали меня первым гостем новгородским, а мою дочь богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги.— И всегда и навсегда напрасно: Ольга не избрет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счеты, но худо страсти людские. Ольга может в твою угодку скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет — как цвет, иссохнет — как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу — отдай Ольгу Роману!..— Слово: совет пробудило гордость Симеонову.— Побереги эти советы для детей своих! — сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия,— старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя за помин о старшинстве: один глядел в косячатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака — оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом.— Прощай, братец! — тихо сказал он, снимая со стопки бровную свою шапку.— С богом, Юрий! но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.— Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию...— Вольному воля! — повторил раза два Симеон, провожая брата. Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство

Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, с своими заслугами и достоинствами казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого: судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды. «Брат посердится и уймется,— думал он,— а любовь девушки—лед вешний: заплачет она, поскушает... и другой жених оботрет ее слезы бровным рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного: он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою; но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы: Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немом отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыханье; наконец природа взяла верх—в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась рою отрады.

*Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор.*

А. Пушкин

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу няnek и сенных девушек, сидела она за пяльцами, вышивая ковер шелковый, и между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку, и когда Волхов умчал гадальный венок ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты ей казалось, как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шамаханский,—и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев на по-

морье и на подолье; о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы, над крыльцом отеческим, где милый воинтель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богоматери⁴! С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечноцветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозное величие бича вселенной — Тимура, его роскошный двор, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами — привлекали внимание Ольги. — Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, — говорил Роман. — Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоценные пояса дев русских обратились в смýчки собак; багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы, нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града. — Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена; и опасностям во время бегства его на родину от берегов Черного моря. Неустрасимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские, но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор

струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытье, и долго, долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проникали сердце.— Неужель всё то правда, что поется в песнях? — не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей.— О, конечно! — отвечала няня,— в сказке — басня, а в песне — быль.— И вслед затем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: люблю, люблю Романа! — Ты спознала, непреклонная красавица, грусть, и сладкие вздохи, и неясные желания, и, в награду бессонницы — сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился в святках, накануне крещенья, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!.. Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня⁵. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то прыгнул с него, еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою.— Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! — говорил он, схватив ее за руку,— выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависят.— Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: беги! сердце шептало: останься! Что скажут добрые люди? повторял разум. Что станет с милым, когда ты скроешься? замечало сердце! Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала лю-

безного льстеца в безрассудстве.— Ольга! — сказал тогда Роман,— я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи — бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих счастье. Решайся! — Поражена, изумленá вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Всё кончилось! все мечты — любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускло зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги.— Бежать, мне бежать! — воскликнула она, рыдая.— И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего рода и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет! Отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого...— Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспылчивый Роман укорам девы.— Женщины, женщины! — произнес он с дикою усмешкою,— и вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностью! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковверных! Любовь ваша одна прихоть, болтлива и летуча, как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным *нет* оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и всё, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц; какие взгляды стремились

ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседей? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом всё у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтоб золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилого супружества — немилого, говорю я?.. но ведь женская любовь — привычка; долго ль красавице позабыть прежде!.. И, может статься, если переживу я свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!.. — В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее: они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе. — Неблагодарный друг! — говорила красавица, — и ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. а теперь! — Прости, прости меня, бесценная! — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем — и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение. — Жить и умереть с тобою! — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым. — Души пылкие! вам они понятны: мы изведали сии волшебные мгновенья, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

— Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу

чуждой реки найдем мы покой и счастье и, может статься,ждемся благословения отеческого.— Роковое *да!* излетело со вздохом. Любovníки поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

III

*Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой:
От вопля их дубравы воют —
Они стопами землю роют.*

Дмитриев

Наступил день праздника. Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к Св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыко благословляет яствы, гремит труба — и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православными. Всё смешано, все дышат братством и дружеством: благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, когда обновился пир Изяслава, князя любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой. Протекли с того дня три века; изменились князья Новгорода: зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны, как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает, как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую. Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят

ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу. — Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн и все господа рыцари немецкие и все ясные паны Литвы! — говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим. — Милости просим послушать песенок русских: певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших. — Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь! — говорил ему мудрый Ярослав, — ты мил моей дочери — этого довольно: меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!» — произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал потому, что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новугорóду, и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны и свежая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь, будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путах, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения: он был счастлив!

— К играм, к играм! — прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную. Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике: они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках: закрыт от золотой шпо-

ры до золотого нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, строусовыми перьями. Забрало опущено. Черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером конце рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружающих садов, вьет пыль и окровавленную шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи; тяжело вооружение и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита⁶; кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот рассказали противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней,—удар!—и копыта в осколках, и кони, сгрязнувшись, поверглись наземь: рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимо и невредимо.—Прекрасны ваши брони,—говорили, поднимая их, новгородцы,—но для нас несручны: русский не согласится сидеть будто в засаде в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!—Литовские пятигорцы⁷ на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое: легкие кольчуги облачают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы⁸ надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копыта, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями; лядунки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув поводья на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотопе самопалы⁹ и как перуном разят перелетных ласточек и дивят народ своим проворст-

вом.— Удалы наездники! — говорят про них меж собою новгородцы,— а не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удалцов; кулачный бой решит победу. Уже строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на средину; сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук — рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правою — вот удар, и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов; удары дождят — как вдруг раздался глухой стон вечевого колокола: изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

— Граждане! — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, — послы князей, Василия Димитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому вечу. Когда и как позволите вы явиться им перед собою? — Теперь, сейчас, — воскликнули тысячи, — допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое по-

сольство.— Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженною головою, поклонился народу и читал:

«Василий Димитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Нижегородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новгородцам!.. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших я три года жду покорности новгородской митрополиту Москвы — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое: желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние, союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев: требуем того же от Новгорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на средину и громко вещал: — Новгородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников¹⁰. Так ли поступают союзники? так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги. Новгородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами, и болота не щит Новгороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пушу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа! — Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников¹¹ проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое сове-

щанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на ве-
чах, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело
собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин
Иоанн Завережский, муж правдивый, но миролюбивый,
взошел на ступени и громко спросил позволения вымол-
вить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

— Народ и граждане, вольные люди новгородцы! Вы
слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту
оного, и обидность угроз, и высокомерие княжее; но вы
знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно на-
чертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляндца-
ми или в войне с могучими князьями, и мое мнение: из-
брать меньшее, первое зло из двух необходимых. Прав-
да, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жиз-
ненные потребности в руках Василия: он может пересечь
нам и путь к Каменному Поясу, а без соболей что будет
с нашей заморскою торговлею? Это еще не всё: немцы
приятели нам только в гостинном дворе и злодеи в поле:
набеги их на границы наши от Невы и Великой тому пору-
кою: за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, на-
ведем беды на отечество? И без того еще не встали из пеп-
ла села и монастыри и запольские¹² посадки Новагорода,
недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполез-
но. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов: те-
перь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит
волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить неко-
торые выгоды, чем вдруг потерять все? — Правда, прав-
да! — закричали многие. — Куда нам ведаться с двумя силь-
ными врагами? — Тогда, кипя досадою и гордым мужест-
вом, Роман просил слова. — Говори! — зашумели все. Ро-
ман говорил:

— Вольные местищи вольного Новагорода! Не дивно
было, когда послы князей винили и стращали нас по-свое-
му: дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь
противные пользам соотечественников! Мы поклялись

управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями — ужели будем играть душою, чтоб угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отда-на в приданое за его дочерью? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригай-ла и Нариманта, им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство наше! Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новгорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Через какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: пустой мех стоять не может! — Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

— Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть не легко: в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны: зато в них нет единодушия: Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир — временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле

Василию: заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братьев своих¹³, или нет в Новгороде сердце новгородских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстанут тьмы русских на своего прадеда, на Великий Новгород: за нас наша мать, святая София!

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

IV

*Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!*

Народная песня

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев: сон смежил очи заботы. Покойно всё на берегах Волхова: только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! и сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя: ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферезы, прочитала молитву вечернюю, sprysнула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правую ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки! Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и статью. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она лю-

бит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впиается в невинную душу.— Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи!

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога— прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампы перед иконою обличает волнение беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и наконец— решается встать с постели: долго ищет ножкою по холодному полу туфель сафьянных— каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Всё было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка бречанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. «Прости в последний раз, всё, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители!»— Ольга залилась горячими слезами, и невольно упала на колена перед спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярчей слышался голос раскаяния: «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отягощает над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истaeшь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои; твоё имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в её сердце светлую мыслию.— Нет! не огорчу, не обесслаблю побегом роди-

телей! — сказала она с благородною твердостью. — Роман ослеплен любовью, но он меня послушает — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна: зато невинна! — Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим. Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы; не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

V

*Под звездным небом терем мой.
И первый друг мне — мрак ночной,
И мой второй товарищ ратный —
Неумолимый нож булатный;
Товарищ третий — верный конь
Со мною в воду и в огонь;
Мои гонцы неподкупные —
Летуны-стрелы каленые.*

Старинная песня

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, неся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от измеченческой стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремяна. Протяжный звон службы всенощной раздался с севой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел: богородице дево,

радуясь, и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными. «Мучительно оставить милую,—мыслил Роман,—когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски, но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного: да будет воля его святая!» С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает: то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бесильно против невинности — ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову — по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно: Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прят ушами, храпел, робко ступал, — но всё было тихо: Роман думал, что ему почудилось.

— Стой, или убью! — загремел неведомый голос, и пять удальцов, выскочив из-за обрушенных пней из-под моста, заступили ему дорогу. — Прочь, бездельники! — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под

узды его лошадь, покотился от сабельного удара. — Режьте его! — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих: пробиться и ускакать была его единственная надежда, но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романа: он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с мосту и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало. Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их браных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой с свистком в руке; атаман с завязанною головою лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту: вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался. «Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего, наконец со страхом схватился за грудь... на ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерей. Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду: мы уверены в твоей верности: мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай! Великий князь грозит на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избежать; к этому один путь — золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками, любят стольничать добром народа.

Собирают татарской рукою двойные подати, продают правду, обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву; никем незнаемый, ты можешь выдать себя за иностранца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастья в битве, силу Новгорода и упорство новгородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных: с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй всё собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому — святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману. Кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы — всё напрасно: смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романе — мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его; он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой его окуривал жженым опереньем стрелы. — Здравствуй, земляк! — сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос. Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем — и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст. — Понимаю! — возразил, усмехаясь, атаман. — Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой: не дивись этому; гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец! Но говорят, от судь-

бы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободришь, однако, добрый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.— С сими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительную мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.— Благодарю! — отвечал Роман.— Я еще не пью питья хмельного: оно для меня как яд.— Ах, кому оно полезно! — сказал атаман, вздохнувши.— Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением; но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливное море — но с ними скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров — ложный стыд повлек меня с вольницею новгородскою на берега Волги нечестным копьём добывать золота¹⁴.

Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей — умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новгороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам, добром одноплеменцам запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощение. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась, но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали

мост Волховский; разграбили, срыли под корень дома бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внуки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Мечь глубоко заронилась в оскорбленное сердце: как лютый зверь, стерег я по дебрям и оврагам своего злодея,— и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастье. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и, кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца — он не может забыть ни былого, ни вечного будущего! — Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника. — Счастливцев ты! — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом. Он закрыл лицо руками. В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса. Конь Романа кипел под седлом; Беркут прощался с гостем. — Вот твои письма! — говорил он, — и твое золото: оно невредимо. Спешь, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом! — Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному; выехал заглохшею тропою из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

«Ты без союзников!»

*Мой меч союзник мне
И сограждѣн любовь к отеческой
стране!*

О з е р о в

Три дня ждали ответа послы княжие; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; всё кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны — посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

— Послы московские и литовские! По своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот, что присудило вече в ответ им.— Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

«Великому князю Василию Дмитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новгородских! Господин князь великий! У нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир».

— Только! — примолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину.— Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, Великого Новгорода.— Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу: — Новгородцы! — сказал он.— Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани? — Хотим дружбы со всеми соседями! — воскликнули тысячи голосов, — но имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов! — Война, война! — воскликнул

разъяренный литовец, удаляясь,— и гибель области Новгородской! — Пусть Витовт творит, что хочет: мы сделаем, что должны! — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим.

— Новгородцы! Есть еще время одуматься: еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новгороду! — Упреки Путного раздражили народ: ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал: — Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя; Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча — а что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой: для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного? — Обидные речи! — воскликнул Путный. — Вы сторицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом! — Мы докажем, что не забыли ее! — зашумели все, — но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца¹⁵. Мы станем за свою правду, за свою старину, а кто против бога и Великого Новгорода! — Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

*Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы?
Возникшие в снегах, средь ужасов
природы,
Средь копий, средь мечей?
Б а т ю ш к о в*

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новгородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татаринном, который, спесиво избочась, скакал на грабленном коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви: расчетливые моголы не смели касаться святынь — сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружие — терпенье, одну надежду — молитву. Развращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным: в дымных, покрытых соломою хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радужное «добро пожаловать!» встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего, чем бог послал, и наутро проводжали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! — думал грустный Роман. — Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи». На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золототерхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белока-

менную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкой!.. а теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своей мыслию, узнал мысли великого князя: они были нерадостны новгородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямоты, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новгородцам с объявлением войны; но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя: товары их не были разграблены. Новгородцы радовались. Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча: Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного — вдруг, сквозь сон, слышит он скрип двери, бречанье оружия — чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать — его вяжут, клепят рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то

отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души це-
пенеют. Всё кончено. Роман узнан: позорная казнь ожи-
дает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю
великого поста, а позабытый Роман всё еще глотал ядови-
тый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Ев-
стафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Но-
вегороде,— и отступил в изумлении.— Тебя ли, Роман,
вижу я! — воскликнул он.— Когда и как ты сюда попал-
ся? — Роман рассказал, что его схватили как врага Мос-
квы.— Сожалею о твоей участи,— молвил Сыта,— но, по-
сланный великим князем творить за него по тюрьмам ми-
лость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед
его исповедью, однако ж не иначе как с условием — ос-
таться здесь навсегда. Послушай, Роман! я знаю твои до-
стоинства и знаю, как мало их ценят в Новгороде. Здесь
не то: даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и по-
честями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за те-
бя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которою не
раз Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь,— про-
должал он, протягивая руку,— не правда ли, старый зна-
комец? — Неправда! — отвечал Роман с хладнокровием.—
Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу ве-
сти переговоров с врагами Новгорода, когда не в руках,
а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое
предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником; но
теперь сделался бы презрительным трусом,— нет, Евста-
фий, мне видно одна невеста — смерть, и одной милости
прошу от князя: не морить, а уморить меня поскорее.—
Ты получишь ее, упрямая голова! — с гневом сказал Сыта,
хлопнув дверью. С гордою, утешительною мыслью: уме-
реть за любовь и отечество, ждал Роман неминуемой
смерти.

VIII

*Как мне слушать пересудов всех
людовских?
Сердце любит, не спрасясь людей
чужих;
Сердце любит, не спрасясь меня
самой.
Мерзляков*

Быстро текут слова повести: не скоро делается дело. Прошла зима; лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лёд на Ильмене; уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; всё оживает, всё радуется — одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями: она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу. С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить, — говорила с собою невинная, — потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот не достоин взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого: когда он жив, наглядеться на него; когда ж

убит,— умереть на его могиле». Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угодую, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем.— Ольга! полно горевать, полно, упрямитесь! — не раз говорил ей Симеон.— Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших: твой Роман пропал без вести навеки. Забываю всё прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне безродном! Выбирай... женихов именитых много!.. — И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован выходил Симеон из девичьего терема. «Это пройдет!» — думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород: Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина Иоанна с братьями сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новгородцы сзвали вече.— Князь идет на нас: что делать? — спросили сановники.— Предложить мир и готовиться к битве! — воскликнули все единогласно. Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха: Василий принял их, но не хотел слушать.— Да будет! — сказали тогда оскорбленные новгородцы.— На начинающего бог.— Обнялись, как братья, и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые поскакали во все пятину вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполнить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями Московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.— Прощай, Ольга! — сказал Воеслав решительно.— Я

еду на службу Новагорода: чему быть, того не миновать, но если бог судит воротиться — мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Волотом: он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, — очень богат! — примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. — Понравился мне — и тебе полюбится. Готовься! — Отчаяние помрачило взор Ольги: она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских: не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка, какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад!

Русская пословица

— Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец жаворонок! как весело въесться ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти; слетай, жаворонок, на мою родину святую и припеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине! — Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка. Спустилась ночь — и кто-то стукнул в косяк отдушины. — Спишь или нет, товарищ? — шепотом спросили Романа. Роман отозвался, и на вопрос: «кто там?» отвечали: — В этот раз добрые люди. — Зачем? — Спасти тебя от плахи. — А эта цепь, эта решетка? — Распадутся, как соль,

от нашей разрыв-травы.— И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удалца разбили его рогатки; по веревке перелезли они через монастырскую стену,— на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу: загадка Романова разгадалась.

— Здравствуй, земляк! — сказал атаман. — Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребке вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дня (это узнал я от болтливового приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыба: куда ж едем? Отдыхать ли в Новгород, или биться к Орлецу? — Туда, где мечи и враги! — воскликнул пылкий юноша; они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копыям привязаны были кони; одни поили их из шишаков, другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Всё до-

казывало непривычку сил новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распушены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушал их разговоры: пленный обратил речь к десятнику: — Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете? — Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух — и замолчал. — Неужто вы, москвичи, только умеете такать? — продолжал пленник. — Когда бы и вы, упрямые новгородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы. — Что же там со мной сделают? — Что сделают? Отправят на покой! — сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву П на воздухе; ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом. — Беркут! — сказал Роман атаману, — спасем новгородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на всё. — Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян: через мгновение уже не было ни одного противника. Самые храбрейшие разбежались; другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал плененного и узнал в нем — Симеона. — Добрый, великодушный юноша! — говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, — я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий соби-

раются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи: поспешим! — Роман с радости о битве и невесте перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьём. — У этого копья еще не выросло ратовье! — отвечали с насмешкою москвитяне. — Впрочем, милости просим; мы готовы — мечом охристосоваться с дорогими гостями. — Вперед! — воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы. Новгородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы¹⁶. В это мгновенье приспели наши путники. — Други! — сказал Беркут разбойникам, — мы долго жили чужбиной без чести, — погибнем теперь за свою родину со славою. Туда! — Он указал на московское знамя, веющее на крепости новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна: русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою — но подгоревшая твердыня рухнула, и витьязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новгородская прозвучала на отступленье, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

Отворяйся, божий храм!
 Вы летите к небесам,
 Верные обеты!
 Собирайтесь, стар и млад.
 Сдвинув звонки чаши
 в лад,
 Пойте: многи леты!
 Жуковский

В Новгороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о гибели первейших воинов, о приближении войска княжьего. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров волнуемая страхом Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице, топот ближе и ближе,— пронеслись мимо сада; ворота заскрипели, и два всадника въехали на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу¹⁷.— Это батюшка, батюшка!— Ведь дом поднялся на ноги; огни забегали по сеням, и Ольга бросилась в объятия отеческие.— Тише, тише!— говорил Симеон ласково,— ты задушишь меня своими поцелуями— не худо бы побережь для твоего жениха!— Это приветствие как громом поразило Ольгу.— Милый батюшка!— говорила она, рыдая,— не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества; я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя.— Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? к чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса, и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка.— Нет, никогда, ни за что!— Эй, дочь, не ручайся за свое сердце— да вот кстати и жених: он поможет развеселить несговорчивую!— Ольга вскрикнула и за-

крыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой взглянула она на приезжего. Перед нею стоял Роман Ясенский.

— Обнимитесь, дети! — сказал Симеон, сложив руки их. — Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь! — Долго еще проповедывал Симеон, но влюбленные не слыхали ни слова, и долго бдился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой с тем большим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой!» — Как мила невеста! — шептали мужчины. — Какая прелестная чета! — твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «Брат и друг! не прав ли я в выборе?» — и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «Так я был виноват!»

ПРИМЕЧАНИЯ

* Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с 1 марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступной точностью, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымыш-

лены,, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, для проверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома *Истории государства Российского, Карамзина; Разговоры о древностях Новгорода, преосвященного Евгения и Опыт о древностях русских, Успенского.*

¹ Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том Ист. гос. Росс. Карамз., примеч. 251.

² Брак сопровождался был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер; под венцом стояли на соболе; по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подружки молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на 39 снопах разного жита, и один из дружек с саблею в руке должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клетки или сенника.

³ *Твердислав* был посадником новгородским в 1219 году. О его великодушии смотри Ист. гос. Росс. Карамз., том. 3, стран. 172.

⁴ Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную. — Ист. гос. Росс., том 5, стр. <144—145>.

⁵ *Рюэнь* — сентябрь.

⁶ Военно-торговое общество братьев *Шварценгейптеров*, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию.

⁷ *Пятигорцы* — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. *Opis starozitny Polski przez T. Swieckiego**.

⁸ *Прильбица* — шлем, а иногда наличник (*visière***).

⁹ *Самопалы* — пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже.

¹⁰ Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород), и литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление приневские области.

¹¹ Действительный посадник назывался *степенным*, прежние посадники *старшими*. Каждый конец, или часть города, имел своего *старосту*, делился на военные и торговые *сотни*. Первейшие *местичи*, или граждане, назывались *огнищанами* и *житыми людьми*. В боярское достоинство, равно как во все должности, избирал народ миром, т. е. обществом; но оно не было наследственным. Простой или черный на-

* Описание древней Польши, сочинение Т. Свицкого,

** (фр.).

род пользовался одинакими правами с прочими сословиями. Купцы, или *гости*, имели свою особую расправу — в думе.

¹² *Запольские* — загородные.

¹³ Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом 70 человек, терзали на площади московской. «Они исходили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». Ист. Г. Р. Кар., том 5, стр. 135.

¹⁴ Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новгородская вольница отправлялась в лодьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих.

¹⁵ *Румянец*, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего.

¹⁶ *Стрикусы*, пороки — стенобитные орудия, род таранов (*bélier**).

¹⁷ На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, — если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое.

* (фр.).

РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

I

*Вы привыкли видеть рыцарей
сквозь цветные стекла их замков,
сквозь туман старины и поэзии. —
Теперь я отворю вам дверь в их
жилища, я покажу их вблизи и по
правде.*

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле всё шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем за кружкой пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, т. е. с сединою, Буртнек был человек лет 50-ти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество. Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам со всех панелей развевались фестонами круже-

ва Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешанная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось, как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону, вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блещат наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор? — спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости москвитцев, отчасти задержанный городскою душою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду, не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого. — Нагулялся ли ты, — повторил барон, отирая с усов своих пену.

— И с пользою нагулялся, барон, — отвечал весельчак-доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц,

разнородные растения.— Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия; и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы ж тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грозные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены; а грозны они только издали: половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофеля, нежели карточек.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни!

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее, как вчера, я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения мальвазию, г. барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? а ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но, между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к

Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.— Тебе завтра будет вдоволь работы,— продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон, разве я кузнец!— отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива.— Зачем вам хирург, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор, как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальней! Право от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любы ли они им! Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставить вас по-домашнему — в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешево из нее перчатки!.. оно и немудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку — я бы нагнал удалцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встреч со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии,— сломал

бы вам руку или ногу. Вы увидели б тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! некстати ему мерять плечо с мальчиками. При том же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал? — это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его; хотя я вовсе не прошу г. гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибывают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев также приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, явясь сюда с первыми жаворонками, — воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это случиться! мое дело так ясно, как мой палаш; так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн, хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости — а смотришь, деньги улетают, как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь — мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чухотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось: у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет—тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность*.— За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул столом об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю,—сказал с улыбкою рыцарь.—Понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду. Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе *потопа*, г. доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно.—Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами; вбежал и смирно остановился у притолки с раболепно-вопросительным лицом.

— Друмме,—сказал ему Бернгард,—скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погребца одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок,—продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту),—и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да-убери эту стопу, Друмме,—слышишь ли, глупец!

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан,—грозно закричал рыцарь,—кружка эта пуста, как твоя голова... куда, нечесаное животное, куда? чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ,—продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения,—скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе—из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Иксулю за то, что он в стенах ревелеских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать: глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится*. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных,—безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково винцо, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев.—Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

— О, конечно не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать,—у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель**:

* Прошу читателя вспомнить о феодальных правах.

** Род бильярда.

разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать Горацием: *utile dulci*¹.

— Пошади, сделай милость, пошади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово *vale*².— Так говоря, они вышли из зала,

II

*На радуге воображенья
Воздушный замок строит он:
Его любви лелеет сон...
Но бьет минута пробужденья!*

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь—люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотою, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; всё их тщеславие ограничивалось нарядами, всё честолюбие не стремилось выше

¹ Полезная сладость (лат.).

² Конец (лат.).

верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такая была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц скользили взоры... но какие взоры! — От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотой и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, — но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее; но книга света была пред нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро заметила, что ее не понимали; что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастья; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в 18-ть лет — порох; одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтраму. В углу за занавесом вокруг длинного стола сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетюшка Минны дремала в другом углу под тению крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее оде-

ваться. Перед Минною стоял белокурый, статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам; золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин? — сказала Минна, повертываясь перед зеркалом. — И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любованье красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвин, — сказала она вполголоса тронутым, вполголоса ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлин Минна, простите меня или лучше самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлин Минна, — я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо! — Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял пред прекрасною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником пред

светскими красавицами? Кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце — остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори — я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет, — сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! — Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду) вы и сами не сомневаетесь?

— Почему вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блестит Ревель!

— И недаром блестит, фр. Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая? — спросила Минна нетвердым голосом. — И для всех, или только для вас она кажется такою? не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот; фр. Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства — а мне бы хотелось знать ее имя, — сказала Минна холоднее, — могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе. — Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила

свой — и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен — Минна чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать, и чувствовать; а рыцари ливонские могли только смешить и редко, редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие; говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским, и образованности, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях; рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, — Эдвин говорил ей о *ней* самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей — он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги — он любовался ее очами. Следствие угадать не трудно, ибо состояния выдуманы не для любовников, — и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего англинского магазина (т. е. местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархагу, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал пред тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, — слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький

вздых развевал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную — не сводил их с ее окна — и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастье, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таясь от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой,— наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось в одно мгновение с умильным, голос замер, сердце как будто пронзилось — но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд. Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фр. Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли розового; я бы избрал,— продолжал он пламенно, схватив ее руку,— прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна! — Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

— Ах! зачем вы не рыцарь! — прошептала она. Воздушный замок Эдвина разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь! — вскричал он вне себя. — Зачем я злосчастен своим благополучием! — И в одно вре-

мя на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! — закричал отец из другой комнаты. — Минна, — повторила впросонках ее тетушка!

III

*В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.*

Кто не читывал рыцарских романов? кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титул царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ли — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома; вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания — пошумели, поспорили, кого избрать; и когда от кружения козьею ноги* у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею. Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу. За нею последовал Эдвин.

— Благодарю господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею, — сказал барон, потирая от удовольствия руки... — Благодарю, я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую

* Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall — падение серны.

из трюфов коронку, и, смущенная нечаянностью, Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас,— тихо сказал Эдвин, положив руку на сердце,— вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала. Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.— Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей,— сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь...— Соколом моим, фр. Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь,— конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фр. Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф — у меня уж и чепрак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.

— И быть полосатым шутом,— тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль,— воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши,— вот что называется соглашаться, не сказав да. Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа,— говорил Бургнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту.— Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества,— моей дочери; растолкуйте ей должность царскую,— а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.— Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Бургнек в другом присели к столу.

— Добро пожаловать, старая кукушка,— сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера,— добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! что вздумали,— отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога.— Я ведь, как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, также часто и также верно вещую на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? — продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку,— у меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье,— сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги.— Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь!

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, г. барон,— стать ли нам со-ваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру—я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда,— ворчал про себя Буртнек,— ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя лягавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих. (Читает.) Ба-ба-барону... Бур... Бур... провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца — это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере

титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами*!

— О! конечно,— сказал, не слушая его, рыцарь Дон-нербац.

— Без сомнения,— прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее,— примолвил с усмешкою доктор,— письмо написано ломаным языком.

— У тебя он очень гибок на споры,— возразил Буртнек,— посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы — не могу разобрать: буквы мелкие, как маковые зернушки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них,— сказал доктор, пробегая бумагу глазами.— От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггеней пре... при...

— Возьми очки,— сказал барон.

— Возьмите терпенье,— возразил доктор...— Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: гермейстер Бруггеней благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста, барону Эммануилу Христову Конраду... фон Буртнеку, урожденному...

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты списывым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс при смерти не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной та-кой-то...*

— Какая мне надобность до ее рожденья и смерти

* Fraktur — Buchstaben.

и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! — Ни дать, ни взять ты словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу: приказ, кажется, дан в придачу титулам: он и весь в четырех словах: «Исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемашивает своим пергамином — а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите? так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде — они не журавли — не перелетят чрез болото.

— Это уж их дело, а не мое.

— Но ведь большая дорога вещь мирская, а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают всё, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью, — сказал Лонциус, наливая стопу...

— Я говорю про бумагу, — с досадой произнес Буртнек.

— А я думал про стопу, — отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи. (Читает.) «Гермейстер... и тому подобное... По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и незаконно, наездом и вооруженною рукою, и насилием, и грабежом, с угрозами повторения оных впредь; я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело; *нашли...*» Ошибка против грамматики, — вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды,—возразил Буртнек...— Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «Рассмотрев, *нашел* по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами, а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на любовные сделки и многократные свои требования,— и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия, и положить новую границу от ручья Куремсе до озера Пигуса, до заводи, где коней купают; оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту! — вскричал барон, вскочнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны...

— Вот правосудие! вот закон!.. когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножами,— тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон *так* кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копьё вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет,— а теперь, смотри, пожалуй! — Это ходячие чернильницы, это черепокожные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его

землю, за каждый стакан воды из ручья — и какой воды!

— Без воды обойтись можно... — возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение... — «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только придет... я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать... всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы васалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласился обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью? его флюгерною дружбой! Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без бою — даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси. — Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, — и громче и громче раздавался голос его до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга. Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка — и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдоро-

ге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием. Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да,—продолжал Буртнек,—я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь,—вскричал Эдвин от души.— Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте,—сказал, пошатываясь, Доннербац,—мною каждый день до обеда, а удалцами моими всегда.

— Благодарю... Сердечно благодарю...— отвечал умиленный барон, подавая им руки...— Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. завтра турнир — и Унгерн наверно по-прежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами,—и где же? — перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья... Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен, и сломишь Унгерна, как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг — кто бы ни выбил Унгерна из седла — я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон,—вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку,—и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке,—если не так же сомну его! — С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка! — воскликнула испуганная Минна...

— Минна... я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля — твоим желаньем; что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин? — кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было. — Чудак... а славный малый, — примолвил он, — скажи слово — и Эдвин отдаст всё без росту и закладу.

— Молодец, — повторил Доннербац, — даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница, — прибавил доктор, — хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» — думала полумертвая Минна... но она не сказала этого вслух.

IV

*I write in haste, and if a staine
Be on this sheet 'tis not whate it appears
My eyeballs burn and throb, but have no tears.*

Byron¹

Как бешеный, вбежал Эдвин домой. Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелися вдребезги — и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

¹ Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. Байрон (англ.).

— Кончено... Решено...— говорил он, скрежеща зубами,— турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрасудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду,— вскричал он слуге своему.

— Куда?— спросил тот с изумлением.

— Кто смеет спрашивать, куда? я еду — и этого довольно; ветер хорош, кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!.. Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди бушевали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме, вот оно:

«Для меня всё решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно — тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец, я безумец! из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба! Ты думал... нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву...— Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности; испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня — и, кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге,— склублились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тог-

да мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость — еще один взор, как сего дня... и я причарован — и что тогда? мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливец, которому выпадет мое счастье, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться,— не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будет мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна,— и верьте сердечному, хотя не рыцарскому, слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.— Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, приклонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампы — и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись, как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо,— и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

*Amour aux dames, honneur aux braves!*¹

*Летит, как вихорь, как огонь
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.*

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо — и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; всё было оживлено, всё дышало радостью, всё праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг и Брейт-штрассе — две дороги, ведущие к дом-плацу в Вышгороде, заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вокруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями. Под балдахинном сидел гермейстер, в белой бархатной мантии, с черным на левом плече крестом, в полукафтанье

¹ Любовь — дамам, честь — храбрецам! (фр.)

с разрезами, унизанными застешками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображением кратковременного владычества прелести!

Между тем, как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность,— Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся округность,— и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну,— сказал доктор, которому все казалось в забавном виде.— Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы; какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи! — отвечал Эдвин. — Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских, — следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статуйку, — жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной: они горят одною страстью — к стеклу, т. е. он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу, — дворянка Зеgefельс. Он, скажут, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой — это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлен Лилиендорф — знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою, — баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт — он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лоша-

дям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова из всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние; но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства... фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга*: шейная цепочка его весит ровно в 30-ть фунтов, и посмотри <те>, в какие перстни закованы его пальцы.— Он имеет *вес* между рыцарями.

— Ну, а тот с бекасиною фигурой, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер Рабенштраль; но вот въезжают и рыцари: в голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост, как строус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность** можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...— Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари при звуке труб и литавр по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копыя перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натура-

* Гер. Плеттенберг в 1503 году издал для удержания роскоши указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий, но это осталось без действия.

** Sein <е> Durchlaucht — светлость, его прозрачность, немецкий титул.

листов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бречание сбруи и плески и разнообразие кругом — все изумляло странностию, было дико, но пленительно. И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставляя место для бою. Снова звучит труба — и уже копыта ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат, более чем от силы ударов. Часто свои вольные кони разносят их, и копыта поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с конем своим. Забавнее всего был удар копыта Унгернова — он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников. Бросив повод и опершись на копьё, величаво стоял он среди площади. Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, — никто не являлся. Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду — отдать лучшую храбрейшему!»

— Отворите! — кричал неизвестный рыцарь, приближаясь, — и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее. Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле — только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрыгнули от удара. Минуту стоял он, как вкопанный, слегка поигрывая поводьями, — как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом, поехал кругом ристалища, при-

ветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненные с золотой насечкой. Огненный цветом и ходом конь его храпел и форкал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвешиваемой его ногами.

— Какой статный мужчина! — сказала, прищуриваясь, фрейлен Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец! — воскликнул ее брат, — во всех статьях — даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец, хоть спи на нем, ноги гоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... Только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы, — с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь, — смеючись отвечал фон Клокен. — Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербац, — отвечали многие голоса.

— Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко, низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что муштук звякнул о муштук... — Что это значит? — с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике, — насмешливо отвечал неизвестный, — то брошенная перчатка значит вызов на бой!

— Рыцарь, я уже давно эту указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремя!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвостун!— ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов,— поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец,— вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника,— и также воткну на копье твою голову.

— Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор... поклонись в последний раз пехоту на Олаевской колокольне,— вы уже больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвету кровь,двигающая этот дерзкий язык!.. Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца,— говорили рыцари, разъезжаясь. И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравнивали копыя — и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн собирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится... Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два — и копьев как не было; но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завяли плат-

ками в одобрение Унгерна. Таковы-то люди, таковы-то женщины — они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк!— кричали ему ревельцы,— ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадыю.

— Едва ли это не правда,— примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив, ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать незабудки с копыа Унгернова,— прибавил другой.

— Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь,— сказал третий.

— Распечатай его наличник!— кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты,— так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороу.

Снова, с новыми копыями устремились рыцари навстречу; один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились — и Унгерн пал.

Разгорячен, спрыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн. Кто победитель?

— Судьба,— отвечал тот едва внятно.

— И смерть — если ты не сознаешься, кто победил тебя?

— Ты, ты!— отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней — или чрез минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных то от страха за Унгерна, то из участия

к незнакомцу.— Слава великодушному, награда и честь победителю! — раздалось в громе рукоплесканий.— Ему, ему награду,— восклицали все.

«Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок»,— решили судьи гурнира, и герольды провозгласили то. Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты, поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь!— сказал гермейстер Бруггелей, стоя,— ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие — покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! Важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться.— Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин,— сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским...— Неужели откажетесь вы ответить на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повинения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет,— говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем — он колебался.— Минна!— воскликнул он, наконец, хватая кубок,— да будет!.. я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наливчик...

*Не встанешь ты из векового праха;
Ты не блеснешь под знаменем креста,
Тяжелый меч наследников Рорбаха*,
Ливонии прекрасной красота.*

Н. Я зы к о в

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет 15 спустя после введения лютеранской веры. Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Рос-сиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новгородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами от чистой души уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержаться за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унижить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии, льстимые легкостью стать дворянами чрез покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностью, кидались в роскошь. Дворяне,

* Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Swerdt<Schwert>Brüder).

чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари в борьбе с ними обоими закладывали замки, разоряли в конец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду: слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество черноголовых (S<ch>warzen-Häupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

*Что будет, то будет, что будет, то
будет, а будет то, что бог даст.*

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин! — воскликнула Минна.

— Купец! — закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию. — Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает мести! — раздавалось отовсюду; и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище. — Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца, — кричали рыцари, — он не наш.

— Он будет наш, — возражали шварценгейптеры, стес-

нясь в кружок около бесчувственного Эдвина,— мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст, кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский?— шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки... храбрость ваша качается на весовой стрелке,— а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

«Аршинники—разбойники!»—летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом говорил:— Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата — и преимуществ Ордена; не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переды. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет!—загремели дворяне и рыцари; и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире.

— Так мы слоим их в битве,—зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А коли так,—бейте черноголовых,—закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых,—воскликали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и в миг мечи запрыгали по латам, и бой завязался. Вопли женщин, клятвы противников,

громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех; ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира — никто не слушал, никто не замечал его. Наконец, усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. — Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнейшему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнь за эту игрушку.

Эдвин всё еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая за Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержат слово, чтобы поддержать имя. Коротко сказать — Эдвин очень высоко задумал; я вовсе не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

— Хоть весь он рассыпся червонцами — я не соглашусь раздвоить* свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручал вам отнятое Унгерном, — неужели за великодушные заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров, — гордо возразили старшины сего сословия. — Он заслужил его достоинство храбростию.

— Слышите ли? — сказал доктор... — Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка, — вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная, — он оживает — мой Эдвин оживает. — Простите... — продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами... — я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину. — Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, — и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустила на плечо отца. Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы — хотел поцелуем призвать в нее жизнь — и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице. Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее. — Он богат, прекрасен, командор и храбр — это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишите счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... И так, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

* Ecarteler — геральдическое выражение.

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку. Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

— Куда едешь, любезный Доннербац?— спросил Буртнек.

— На турнир,— отвечал тот, протирая глаза...

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу,— с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу,— неужели с фр. Минною?.. не сон ли это?

— Дай бог век не просыпаться от такого счастливого сна.

Шумно промчался поезд мимо — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.



ИЗМЕННИК

Повесть

*...Never pray more; abandon all remorse;
On horrors head horrors accumulate:
Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd
For nothing canst thou to damnation add,
Greater than that.*

Shakespeare¹

I

«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»

Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостью озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обитателей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна; но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево

¹ Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагромози еще ужасы: пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятью, чем это. *Шекспир (англ.)*.

и стал, пораженный красотою природы, чувствами давно забытыми и новыми.

Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамах своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обителей, и сумрачный город, и чуть оперенные майскою зеленью рощи. Лады рыбарей, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешенных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремлением тысячи ручьев, низбегающих в озеро.

Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолюбие, жажда битвы и славы и все, все уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня, припал к воде, которою часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее,— и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир:

— Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег¹. Пусть же берега твои сохранят меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар!²

Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла их могилы и сердечное *добро пожаловать* ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал

¹ Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно. (*Примеч. автора.*)

² Жители Переславля, большую частью рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера. (*Примеч. автора.*)

Владимир на свежей мураве, улелеянный мечтами под крылом родимого неба, и сон росой упал на утомленные члены путника — сон, какого давно не знала кипучая душа его.

II

Лениво подымались утренние туманы с тихого Трубежа¹, и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, глядел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены.

— Это бревно никуда не годится,— сказал он плотнику,— в нем сгнила сердцевина.

— Так-то и с нашею Русью, Петрович,— отвечал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на венец,— Москва, сердце ее, испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей, а мы подавай войско то за них, то против них драться! Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу, а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господу неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое добро, моя голова будут у меня завтра?.. В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса не так было.

— Нашел чем хвалиться! Нашему брату ратнику не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело; дай только дожидаться сюда литовцев; мы порастрясем их карманы.

— Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего.

— Зато много грабленного золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон.

— Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет.

¹ На реке Трубеже, впадающей в Плещево, расположен Переславль-Залесский. (Примеч. автора.)

— Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице¹.

— Кто же здесь останется воеводой?

— Кому быть, кроме старшего князя Ситцкого... Ему, кажись, на роду написано повелевать,— что твой орел, когда взглянет!

— Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью — всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он братался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского? Худо, коли он не хотел заступиться за правое дело, а еще хуже, коли его в дело не приняли.

— Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуще жидовского золота.

— Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену, а святая Русь у гибели от самозванных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край; когда враги палят нивы и города, бесславят братьев и жен — навек позорят имя русское?

— Ты разве не слыхал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?

— Да он-то пришел ли ей по нраву? Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михайлом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа — можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бил-

¹ Воевода переславский Иван Васильевич Волинский был с своею дружиною для помощи Троицкой лавре в 1609 году. См. сказание об осаде Тр.-Серг. лавры, стр. 221. (Примеч. автора.)

ся и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластится к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михайла оставили у нас засадным воеводою!

Так судили о двух Ситцких многие умные горожане; но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение — своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, облеченные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло над ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома.

Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенною загадкою.

III

Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу; смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхивает и гаснет в темной

глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блестках ее видны тяжелые облака, без ветра надвигаемые. Тихо все и мертвенно, будто природа в тоске перед грозой.

Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславию, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда все живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или покушение на новое подняло его с ложа?.. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны — и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами; иссохшие ветви цепляются в волосы; тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и все уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.

Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниею колдун, когда он с помощью ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться над могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воздуху, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков наворачивались холодные слезы от ужаса, на посиделках, от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыпе оконницы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом.

И вот уже проник он до поляны, венчающей холм; уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всенощной. Холодный пот проступил на челе отчаянного: медь прозвучала ему совестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест Христовой заутрени в подобный час полуночи... Все прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь — теперь стала чернее ворона... Но мимолетны благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя — и мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильнее прежнего.

— Нет, не мне ворочаться! — вскричал Владимир, ступая на поляну. — Тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?

При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где-где между седых полуистлевших елей трепетала робкая осина — дерево казни предателя. Пещерою склонилось небо над сею забытою поляной, и тихо в ней, как в могиле.

— Пора, — сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды обратившись против солнца и за каждым разом повторяя призвание злого духа. — Явись мне, искунитель рода человеческого, — восклицал он, — стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой;¹ я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой, за страшную, за

¹ Все описываемые здесь обряды принадлежат еще доселе к суевериям простого народа. (*Примеч. автора.*)

ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного; как этот череп, попираю ногами все человеческое; как этот пояс, разрываю связь с родством... Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг... Явись, явись!

Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью; но ветер палил его лицо, словно дыхание ада. Снова все тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса; он ближе и ближе с шорохом ветвей... Взор и слух призывателя настороже, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; но вот двоятся огонь — и щелканье зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши, и, наконец, бешенство овладело им.

— Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха. Ты кажешься только детям и старухам, смущаешь только мирных отшельников, беседуешь с одними полоумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора, что рано или поздно я твой? Нет, нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу; в ней довольно силы, чтобы, назло тебе, я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. Небо и ад меня отринули!

В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии, и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.

Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и, при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголя, со времен самозванца еще, носили тогда польское и венгерское одеяние.

— Безумец ты, Владимир,— говорил он ему сквозь смех,— неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно, приятель, поздно Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь,— ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду?

— Так, Хворостинин,— я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мною; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу удружить недругам своим адом! У меня есть сила в теле и месть в душе; на свете есть еще огонь и железо.

— Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и безземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой казели.

— Кто противостанет мне? Что меня остановит?

— Каждая пуля. Полно, князь, мерять силы своим гневом. Будь ты сам Полкан-богатырь, но горсть пороху — и ты прах.

— Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым; тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи, друзья. Они станут за меня...

— Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего к тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись,— и когда я выходил из Переславы, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь, это не правда?

— Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурей! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молнией; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..

— Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша¹ перед Херувимскою. Однако же мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? Как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега. Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто светопреставленье. Едем, Владимир, кони за лесом...

— Нет, я хочу умереть здесь...

— Умереть, чтобы дать другим жить на просторе? Не лучше ль уморить кой-кого, чтобы самому пожить вволю? Владимир не слышал его.

— Князь, я темный человек, но могу тебе пригодиться в некоторое времечко, и это время теперь: отчины твои промотаны, твоя слава двулична. В Москве ты имеешь врагов, а здесь друзей не нажил. Прекрасная Елена твоя полюбила другого, и с ее рукой воеводская булава отдана младшему твоему брату... Чего ж тебе ждать здесь? Каких еще обид доискиваться? Ситцкий, я тянул с тобой одну лямку и чар-

¹ Так называют в просторечии одержимых бесом. (Примеч. автора.)

ку; я знаю, я ценю тебя; я вижу, как высоко стоишь ты над другими умом и как низко брошен судьбою. Я грыз зубы, когда князь Иван поверил неопытному юноше город и засаду. Вот хваленое беспристрастие! Да и где нынче найдешь правду на Руси? Сердце разрывается с досады за всех, а за тебя всех более. Родина отвергла, презрела тебя,— чего ж медлить? Волынский уже не воротится, а литовцы в пятидесяти верстах, под начальством удалого Лисовского, который с русскими и казаками идет к Сапеге. Нам не первочинника дружить с панамі добродziejami¹, и Лисовский примет тебя — чуб до земли... и через два дни Переславль наш, и Елена твоя, и пошла потеха! Опять удалая жизнь, наезды, добыча. Опять звон сабель и кубков; снова гром и дым, пепел, кровь — и песни красных девушек. Князь, решайся!

С содроганием, расширив глаза, слушал Владимир слова предателя. Сомнительно прикоснулся он к груди его, чтобы увериться, человек ли говорил такие речи.

— Злодей!— наконец вскричал он,— ты, ты-то и есть нечистый дух... Русский ли предлагал русскому изменить отчизне, предать свою родину!

— Не сегодня, так завтра она и без нас погибнет, а мы, не спасши ее, потеряем себя даром. Да и одни ли мы предадимся полякам? А ведь на людях и смерть красна.

— Но презрение добрых людей! но проклятия потомства!

— Потомки если не оправдают, то извинят нас обстоятельствами; а из людского мнения не шубу шить; да и где эти добрые люди? Кто ныне прав, кто виноват? Одни бьются за Шуйского, другие целуют крест Владиславу; кто же и нам не велит кричать громче всякого: «За матушку за Россию, за царя за Димитрия!»

— Нет, нет!

— Нет?... Так оставайся же в пыли, хвастливое дитя,—

¹ Паны-добродетели (пол.).

я не хочу долее терять слов с человеком, который мечтает перевернуть свет и не может переломить вздорного предрассудка; который дышит братоубийством и страшится измены; который все хочет и ничего не смеет!.. Поди, кланяйся тем, которые за счастье должны бы считать поддержать твое стремя; грызи украдкою, как мышь, каблуки презирующих тебя врагов; ступай на вести к своему меньшому брату, жди подачи с его стола... добивайся в дружки к той, которой ты можешь быть мужем; осыпай молодых приветливо хмелем, когда бы ты хотел задавить их под проклятиями; считай чужие поцелуи, нянчи будущих детей братниных...

— Этого я не стерплю никогда!..

— Ты не стерпишь? И, брат Владимир,— терпение славная вещь... с ним и с покровительством брата ты можешь под старость выслужить даже угол в богадельне. Прощай, Ситцкий, спасибо за урок. Ты показал мне, что пустые сердца звучат громко, что есть заячьи сердца в грудях орлиных...

Бешенство, ревность, месть пылали в Ситцком; они одолевали совесть. Взошло солнце, и, по сказкам ранних косцов, они видели двух незнакомых всадников, закутанных в охабни, которые торопливо ехали по Владимирской дороге.

V

Зарево от пылающего монастыря Даниила Столпника бросало кровавый отблеск на озеро, и берега его вторили кликам военным. Лисовский облегал уже Переславль, уже отбил вылазку Михайла Ситцкого. Стычка только что кончилась, выстрелы смолкли; но облако дыма и пыли несло еще над стенами города, где мелькали огни и оружия, слышались приказы, стук топоров и плач жен. Другая картина представлялась под стенами: ниспадающая ночь мешала видеть объем стана осаждающих; но как они не слишком боялись недалёкострельных орудий города, то очень близко

притиснули свои передовые отводы к тенистому рву. Со стен сквозь мрак видно было, что всадники расседлывают коней, иные вываживают их, напевая песни; другие, насвистывая, поят их у озера. Пешие отирают брони и строят шалаши из ветвей. Там делят корм, там — добычу. Треща, разгораются огоньки и здесь, и тут, и повсюду; котлы бьют пеной, и вот собираются воины в артели; вот пошли шутки и хохот, крик и пенье. Никто не жалеет о павшем, никто не думает о себе — все беззаботно веселятся после и перед битвой. Они пируют на свадьбе смерти, как на именинах у друга.

Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь, служить себе, без воли сейма и против воли короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих контушей, клянясь и хвастая ежеминутно. Казаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя трубами, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знаменам, для добычи и славы, привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные панам на разбой и на убой, бесстрашно сидят или спят вокруг огней. Наконец изменники русские; иные из привычки к мятежу и бездомью, другие алкая корысти, третьи из надежды воротить грабежом у них отнятое передались к гультаям польским. Роскошь и бедность вместе разительно виделись в стане. Инде ходил часовой с заржавлённым бердышом, в рубище, но в золоченом шишаке; другой в бархатном кафтане, но полубос; здесь поят коня серебряным ковшом, а там на дорогом скакуне лежит вместо седла циновка. Штофный занавес, вздетый на копье, завешивает из бурки сделанную ставку какого-нибудь хорунжего, который нежится на медвежьей полости, склоня голову на седло. Здесь бобровое одеяло кинута на грязной соломе. Все это было странно и дико, но все кипело жизнью и силою. Везде говор и ржание коней, звук и блеск оружий во мраке.

Перед ставкою у огня лежал на ковре Лисовский и с ним

двое изменников, Хворостинин и Ситцкий. Крепкий склад и суровое, загорелое лицо показывали в Лисовском обстрелянного воина, а быстрые глаза и думные на челе морщины — опытного вождя. Беззаботная голова Хворостинин уже спал беспробудно, утомленный сечью и вином, как это видно было по окровавленной сабле его и опрокинутому в головах кубку.

— Пей, товарищ, пей,— говорил Владимиру наездник Лисовский, напенивая стопы.— Смой усталость битвы, освежи твое грустное сердце радостными слезами винограда! Посмотри, как кипит и в жемчужистой пене скрывает румянец свой это некупленное вино. Оно дышит какою-то благоуханною прохладой; оно недаром таило свой жар в ледниках дворцовских, чтобы отводить тоску царей... Товарищ! пей, оно и твою утолит!

— Нет, Лисовский, нет. Злодейка тоска всплывает наверх, и вино подливает пламень в кровь, и без того кипучую. Я видел, как это вино лилось морем на столах Годунова и Дмитрия. Я видел вблизи их обоих,— и верь: оно не смывало кручины с чела, стиснутого венцом и... есть неизлечимые раны, есть неусыпающие мысли, которых никто, ничто в свете не в силах вырвать из размученной ими души!

Так говорил Владимир в тоске глубокой и непритворной. Уста его, еще покрытые пылью, трепетали, и на лицо, обрызганное кровью, проступало мучение души.

Тронутый Лисовский задумчиво пил из стопы своей; участие отзывалось в жестоком его сердце. Так-то и в самых неприступных башнях есть тайники сокровенные, но проходимые. Правда, не вдруг сошлись эти два характера: властолюбие вождя взрывало Ситцкого; вождю не нравилась в Ситцком непокорность. Но в первом страсти сердца, умеренные войною и честолюбием, любили припоминать в другом свою когда-то неукротимую волю; а Ситцкого пленяла откровенность поляка. В верности русских изменников уверился Лисовский на деле; они русскою кровью смыли с себя имя русских, а Владимиру нужно было высказать свои

чувства тому, кто мог бы их почувствовать. Притом оба они были пламенны; наречие обоих, как восточная ткань, пестрело какими-то чудными цветами,— и вот Лисовский, гроза России, славный потом в Германии наездничеством за веру, сдружился с изменником, который навел его на свою родину. Не знаю, искренна или корыстна была дружба сия, но они стали неразлучны. Так два нагорных потока, встретясь, кипят и спорят, и с ревом, преодоленные оба, сливают волны свои, и несутся одною дорогой.

Молча подал Лисовский руку Владимиру и крепко, выразительно сжал ее.

— Лисовский,— сказал тогда Владимир,— вижу, что вопрос, внушенный дружбою, летает на устах твоих,— я предупрежу его. Да и для чего не облегчить мне сердца, раздавленного тайною скорбью! Наружность винит меня более, чем обвинит признание, и ты можешь понять меня! Слушай!

Здесь повила меня жизнь, но путевое седло было моей колыбелью, и я как сквозь сон помню себя в стане военном, и гром, и кровь, и пламя кругом меня. Это, как узнал я после, было при взятии шведами городка Падиса в Чудской земле. Там сидел бесстрашный старец Данило Чихачев¹ и, отвергнув переговоры, пал последний на трупах своих ратников, на вверенной ему стене. Отец мой, бывший там подвоеводчиком, раненый, избежав побоища, спас меня и мать мою. Это кровавое зрелище потрясло мою трехлетнюю душу и впечатлело в ней буйные, неуголимые страсти. Отпа я не помню,— он умер вскоре после похода, а мать забыла меня для меньшого брата. Как буря по степи пронеслась моя молодость, и даже в детстве я не знал иной радости, кроме покоя. Я чуждался своих сверстников, мне казались жалкими их игрушки; моею забавою было то, что и самых юншей пугало: бешеные кони, звериная ловля, и мрак ночей,

¹ Это точно случилось в 1580 году. Спасся только один Михаил Ситцкий. См. «Ист. гос. Росс.», том. IX, стр. 315. (Примеч. автора.)

и непогодное озеро. Я наслаждался опасностями, и мое первое презрение было к тем, кто их боялся. Скоро порода и красота призвали меня в рынды к двору Феодора, и я равнодушно оставил за собой эту родину: тогда райская птичка — надежда летела передо мной и манила вперед своими блестящими крыльями. Сначала сияние двора ослепило меня, — но тем черней показалась чернота его после. Я увидел во всех обман и во всех подозрение, зеркальные лица и ничем не подвижные сердца, лесть, которой никто не верил и каждый требовал, умничанье безумия и чванство ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет улыбка любимцев более, чем заемная шуба¹, которые не могут жить без низостей, ни к чему не нужных! С каждым днем опостыл мне двор... Я вырывался из душных палат кремлевских, чтоб подышать отзывным мне ветром и бурей, чтобы выместить на зверях свою ненависть к людям. Однако ж, по какой-то пагубной привычке, я не мог жить вовсе без людей, с которыми не мог ужиться. Такова-то цепь общества: снять ее мы не в силах, а разорвать не решимся. Наступил на престол и Годунов, годы влеклись, и только изредка моя душа порывалась к чему-то сильному, к чему-то грозному, — и, наконец, труба мятежа пробудила ее. Как ворон, встрепенулся я, услышав кровь, и радостно полетел к Новгороду-Северскому². С кем и за что сражаться — не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать. Эта забава стала мне целью, эта цель — моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я оживал тою жизнью, что отнимал у других, — но кто лучше Лисовского может оценить наслаждение отваги и упоенье победы.

Ты знаешь, это длилось недолго; наши московские сидни признали Димитрия, и я со вздохом опустил меч и, увле-

¹ Тогда при дворе для праздников и приемов выдавались боярам дворцовские богатые шубы и кафтаны. (*Примеч. автора.*)

² Под Новгородом-Северским встретил самозванец неожиданный и сильный отпор, покуда воевода Басманов, сей отважный изменник, не передался на его сторону (1604, в ноябре). (*Примеч. автора.*)

ченный всеми, въехал в свите нового царя в столицу. Нечего было делать — пришлось нанять царских соколов, чтобы заповедовать, при случае, воеводство. Я сошел в круг людей, презираемых мною, но необходимых мне, чтобы из него высидеть. Лишняя горсть золотой пыли в глаза, лишняя дюжина блесков на платье, венгерское вино и арабские лошади — и легкомысленные твои соотечественники стали моими приятелями. Вместе рыскали мы по улицам Москвы, топтали народ и увозили красавиц. Это напоминало мне жизнь наездническую; в буйстве я дышал веселее; я уже был накануне исполнения моих желаний, — но кто бывал в будущем! На одной пирушке молодой Оссолинский обидел меня, и вельможная голова слетела в прах. Я бежал, бежал не смерти, а позора, и родина приняла меня под кров свой, — но как? Подобно дереву, которое манит в сень свою путника на отдохновение и наводит на него громовую стрелу!

Въезжая сюда, я как будто вновь родился. Воспоминанием прежней невинности усыпилось мое мятежное сердце, как дитя колыбельною песнею. Здесь все было так тихо и приветливо!.. Родителей моих уже не было на свете, но я нашел в воеводе Волынском, опекуне моем, второго отца; у него-то познакомился я с прелестною его дочерью Еленой и... признаюсь тебе, Лисовский, полюбил ее душой; неведомое мне чувство какого-то небесного покоя пролилось в грудь ее взорами. Сердце мое стало как переполненная сладким напитком чаша, любовь к ней проливалась на все меня окружающее. Я узнал тогда радость доброты и потребность дружества; весь божий свет стал для меня красен впервые. Как сладко потекли мои дни, как тихи и чисты были сны мои! Теперь я только помню, что это было; но понять, но почувствовать это снова я уже не могу. Чего бы не сделал, чего бы не отдал я, чтоб воротить себе эту внимательную рассеянность при милой, эту нетерпеливую тоску без нее, эту безжелчную досаду за безделицы, этот восторг за ласки! Три года протекли как одно майское утро; она

росла и развивалась в глазах моих, и я забыл для нее битву и славу и поляков и русских. Дмитрия свергли вслед за моим бегством. Его замыслы, власть и жизнь рассеяны были вместе с его прахом пушечным выстрелом... И это было настоящее изображение его царствования: гром и дым — и прах на ветре!.. Прочие московские дела ты знаешь... Но я не хотел тогда знать — и желал бы позабыть; я сидел здесь, очарованный ею, и как прелестна тогда была она! Как искренна была со мною!.. С какою нежною заботливостью спешила рассеять грусть мою, с какою детскою резвостью веселилась, когда я был весел. Лисовский! трудно поверить и тяжело, стыдно вспомнить, как я, гордый и неуклонный, был тогда искателен перед нею; сколько похвал и угодничества расточал ей; как по целым часам, не сводя с нее взоров, впивал ими обаяние красоты; только о ней думал наяву, только об ней грезил во сне... Да... я не знаю середины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до упоенья! Но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былие, но она снедает ржавчиною булат моей сабли,— и, как эта персидская сабля, должествовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа, полная страсти, подобила громовой туче, блистающей лучами солнца; но одно противное облако, одна искра — и кто осмелится играть с перуном!.. Это мгновенье настало. Меньшой брат мой, Михаил, приехал, за полгода, сюда, и скоро я не мог не возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал... он тайлся, но уже взаимная их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы. Свежие щеки, томные глаза, красные речи Михаила полонили ее сердце,— да и какое женское сердце не выбирает друга по себе?.. Оно бесильно отвечать, их ум не может понять сильной любви нашей. Они охотно внимают странным речам страсти, как иноземной песне, ласкающей слух и не понятной душе! Только лепетаньем, только детскими игрушками привлечено их внимание.

Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой души, стало быть счастье жизни! Нет! Он вонзил мне в грудь двойное острие. Волинский удалялся; мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие граждане обещали избрать меня, если б даже и Волинский воспротивился. Все было готово... Я решился пересилить силу, думал несомненно получить если не взаимность, то руку Елены; сватаюсь... и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя суженая, и ей в приданое — воеводство... И в целом городе ни один голос за меня не послышался. Как лютый зверь, тогда вспрыгалось мое сердце; не знаю, как не сошел я с ума от бешенства. Остальное тебе известно. Люди, ад, все изменило мне — и я твой товарищ. И ты видел, каково мстил я коварным! Одной мести жажду я... У меня нет другого чувства; я уже сорвал с сердца терновый венок любви. Но клянусь всем, что было для меня свято, что теперь для меня дорого: Елена, живая или мертвая, будет в моих объятиях. Хочу насмеяться ее мучениями, когда она презрела мои, хочу, чтобы она век не смыла своими слезами кровь своего возлюбленного. Называй это ребячеством, прихотью, раздражением мелкого самолюбия и честолюбия; смейся над этим как хочешь — но она будет моя. В том моя цель, в том мое желание... да и не лучше ли слушаться своей воли, чем век повиноваться чужой! А брата... злодея брата... Слышал ли ты ответ мой на его письмо, недавно ко мне на стреле перекинутое! «Источу из тебя кровь,— отвечал я ему,— чтобы разорвать последние узы, которые нас соединяют, а меня гнетут; пеплом пожара посыплю главу Переславля, который меня отвергнул,— и если суждено мне погибнуть, то и врагов повлеку с собой в бездну!...»

Скоро сон сомкнул очи Лисовского и уста Владимира. Но страшными сновидениями перерывалась его тяжелая дремота. Тише и тише кипела кровь, воспаленная гневом... Волнение уходилось, и предрассветный ветерок обвеял свежестью его чувства. И вот чудится Владимиру шелест ша-

гов; кто-то, наклонившись над ним, шепчет в ухо: «Владимир!» — и он, трепеща, полусонный, хватается за пистолет и, поднявшись на руку, стремится изумленные взоры на пришельца; перед ним молодой казак стоит в сиянии месяца... нерешительно снимает он шапку свою, и длинные волосы распадаются по плечам, замирающий знакомый голос повторяет: «Владимир!» Это — Елена!

— Не дивись, Владимир, — говорила она, — что, откинув девичью робость и стыдливость, я пришла к тебе сквозь все опасности. Долго любя тебя как брата и теперь любя брата твоего более себя, я была поражена твоей неожиданною переменой; меня измучила мысль, что я тому виною; я решилась за то дерзнуть на все, пожертвовать собою для спасения родины, для спасения твоей славы, твоей души. Так, Владимир!.. Я буду твоею, я постараюсь сделать тебя счастливым, я научусь любить тебя, — но будь же достоин моей любви и уважения всех — покинь это гнездо отступников; твой пример повлечет за собою тысячи русских изменников, твоя храбрость спасет Переславль, твое раскаяние загладит мгновенную измену. Сам бог прощает кающегося грешника, и благословение на земле и спасение в небе — ждут тебя. Брат отдает тебе все, что ты хочешь; я — все, что могу... Как награды, как милости прошу: возвратись! Сжался над моими слезами... умились моими молениями!

— Нет! ангельская душа! — вскричал тронутый Владимир, — я не продаю ни добрых, ни злых дел моих; ты останешься невестою Михаила — и я снова слуга родине! Елена, ты победила меня, — идем!..

И вдруг сердце пронзающий звук трубы загредел в стане — и Владимир проснулся!.. Лисовский уже в броне стоял перед ним и будил его.

— Пора, Ситцкий, пора! — говорил он. — Заря занимается, и все готово: ты поведешь казаков на приступ от озера, я с лодками нагряну от Трубежа... Огонь в стены — и город наш!

— Неужели это был сон?! — вскричал, озираясь, обма-

путый мечтою Владимир.— Сон, злобный сон! Так-то все доброе, все прекрасное в свете — один рассказ, одно пустое сновидение; только во сне готовы люди на великое и благородное. Пусть же судьба влечет меня к злодейству — я опережу ее, и чем невозвратнее мне дорога, тем беспощаднее буду! На коней, вперед! Горе осажденным!

Свет чуть брезжил. Толпы двинулись молча и не стреляя; но роковое *пали!* с вала было смертным приговором для многих. Как чугунные змеи, таясь в траве, пушки вдруг разинули пасть свою, небо вспыхнуло, и град смерти, свистя, запрыгал между рядами. «Скорей, скорей,— раздалось отовсюду,— сходи ко рву, бросай вязни, рви и руби частоколы!» Поляки устремились вперед по набросанной в ров гребле; но стенные дробовики не умолкали, ядра пронизывали ряды наступающих, и вода поглощала скользящих и раненых. Толпа остановилась.

— Вперед, за мной!— воскликнул Владимир и, надвинув на брови шлем, кинулся к другому берегу. С гиком и воплем посыпали за ним казаки, и он уже впереди всех, с саблею в зубах, с пистолетом в руке, уже на лестнице... Отряхывая с себя камни и стрелы, уже схватясь за зубец, ступил он на стену.

— Стой!— загремело ему в слух. Пушечный выстрел осветил ратника, с которым столкнулся он грудью к груди,— и что ж? Над ним сверкала сабля Михайлова. Ужасное мгновение! Бледным от ярости, мелькнули им взоры друг друга, и смеркло все... Невольный трепет проник обоих. «Он изменник» — была первая мысль; но «он твой брат» — было первое чувство Михаила, и сабля замерла в руке. «Это враг мой», — мелькнуло в голове Владимира, — и пистолетный выстрел предупредил ниспадающую саблю. Проколотый сам двумя копьями, упал он на труп умерщвленного им брата.

«Измена! Победа!» — раздалось от Трубежа, и затем клики грабежа и насилия огласили воздух.

Ночью двое поляков бродили по стене, ища на трупах добычи; они остановились над одним, чтобы снять с него дорожную испанскую кольчугу. Между тем целый день мук истощил силы Ситцкого; время катилось через него колесом пытки. Огнем палило солнце его раны и жаждою уста; слепни пили кровь его, а он не мог ни звуком, ни движением облегчить своих страданий. Исхлынувшая сквозь раны кровь уступила место совести в сердце. «Злодей,— говорила она,— ты пожертвовал всем своей прихоти,— и что ты теперь? Терзайся! Это еще легкий задаток вечных мук на том свете... Слышишь ли эти вопли? Это тебя отпевают проклятиями, и многие столетия распадутся в прах, покуда не сгинет память предателя, заклеянная позором». Между тем пламя болезни спорило с смертным холодом о добыче,— и ужасная минута, которой жаждал и страшился желать Владимир, приблизилась. Чувства смешались и прекратились... Тяжелый вздох как будто хотел разорвать сердце...

— Это он,— сказал поляк своему товарищу, вглядываясь при свете луны в лицо умирающего,— это Ситцкий. Не зарыть ли нам его честно, Казимир? Он был отважный молодец; наш Лисовский уважал его.

— Уважал! Можно ли уважать изменника! Если почитать людей за одну отвагу, так поэтому все равно умирать на виселице с разбойником! Нет, брось его на расщипку воронам. Земля не примет того, кто ее предал!


— Стащим с него долой контуш,— он позорит польское платье!

— Нет, Ян, я ни за что не дотронусь до платья, обрызганного братнею кровью.

— О, не припоминай! Этот злодей в моих глазах застрелил брата... А тело его невесты нашли теперь в реке. От страха ли, от горя ль утопилась она или ее утопили — это неизвестно; но она хоть счастлива тем, что не видит бед своей отчизны... Да вот, гляди, лежит и брат его. Помоги мне, Казимир, вытащить из-под этого Каина его тело. За-

видна смерть за родину, и честно будет погребенье храброму от храбрых!

Как голос трубы Страшного суда, пробудил сей разговор полумертвого Владимира. С содроганием открыл он глаза, затекшие кровью,— и первое, что представилось его взору, было бледное, укоряющее лицо убитого им брата, на груди которого лежал он... С этим взором выкатился свет из очей изменника.



ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОЗОР

ГЛАВА I

*Прощай, прекрасная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
С неподражаемой красой!*

А. Пушкин

В то время, когда полчища Наполеоновы праздновали в Москве собственную тризну, русский флот, соединенный с великобританским, под командою английского адмирала, блокировал при голландских берегах флот французский, запертый во Флессингене. В самое бурное время года, в открытом море, на ужасной глубине, лежал он на якорях в беспрестанной борьбе со стихиями и каждый час готовясь на бой с неприятелем. За ним была пустыня океана, кругом подводные скалы, впереди грозные батареи; но он, словно крепость, воздвигшаяся со дна, стоял неподвижно,— и неслыханная дотоле блокада сия доказала свету, что русские и англичане умеют торжествовать не только над гением человека, но и над всеми силами природы.

В октябре месяце бури были ужасны и продолжительны; кто терпел их в море под парусами, тот может судить, каковы они для флота на якорной стоянке, где каждый вал, встречая неподвижную громаду, поражает ее всю силою и обрушивается на нее всю толщею своею. Корабль стонет

и дрожит тогда, как прикованный великан, бессильный убежать от валов или всплыть на них. Продолжительный, тяжкий скрип расходящихся членов, оглушающий рев всплесков, свист ветра в блоки и шум ударяющихся снастей — наводят тоску на сердце. Везде вы видите угрюмые лица; все как будто ждет чего-то рокового, и только изредка слышится голос вахтенного лейтенанта, словно голос духа, повелителя стихий; пронзительные свистки отвечают на призыв его: море бушует.

Ураган, свирепствовавший с 16 на 17 число октября, сокрушил на берегах Англии и Голландии множество судов. Ночь эта была страшна для осаждающих; вся опытность моряков истощилась, чтоб устоять на якорях или, в случае обрыва, вступить под паруса для избежания неминуемого кораблекрушения при берегах. Посреди мрака и воя ветра повременно сверкали пушечные выстрелы, возвещая «бедствую!», фальшфейеры искрились, как блудячие огоньки над могилами,— корабли ежеминутно были в опасности свалиться.

Рассвет оказал всю бедственность их положения: линия была расстроена, корабли дрейфовали с двух якорей; на многих переломаны были стеньги и реи; иные, сорванные со стопоров, высучили канаты и под штормовыми парусами боролись вдали с вихрями; почти у всех изорванные и спутанные снасти висели в беспорядке, отопленные накрест нижние реи придавали еще более дикости виду их; волнение ходило горами. Картина была ужасная!

На русском корабле «Не тронь меня!» оказалась сильная течь; он замыкал линию слева, почти опираясь на каменную гряду подводных камней, которая на полмили простиралась в море параллельно с берегом. Прибой к ней, производящий неправильное волнение, называемое моряками *толчей*, всего более раскачал связь уже не нового корабля. Поставили запасные помпы, вооружили цепные; матросы работали неустомимо, но гибель была недалеко: вода лилась в расходящиеся пазы, и как ни равняли кана-

ты, но то один, то другой вытягивался в струну, готовясь лопнуть; офицеры с недоверчивостью поглядывали на третий. К счастью, с рассветом шквалы затихли, и хотя ветер дул еще сильный, но болнение и качка стали правильнее. Мало-помалу все начало приходить в порядок: выстроили линию, убрались с повреждениями. Веселость возвратилась к усталым пловцам, лишняя чарка водки — и все забыто.

В четыре часа, то есть в восемь склянок, при смене вахт, вступающий в должность лейтенант, осмотрев все работы, подошел к капитану, ходившему по своей стороне шканцев, для рапорта о состоянии корабля.

— Господин капитан, — сказал он, приподняв свою круглую шляпу, — вахта принята благополучно, ветер сильный норд-норд-вест, глубина по лоту семьдесят восемь сажен, канатов на битенге по сто девяносто первой, воды в льяле...

— А что помпы — помпы, Николай Алексеич? — прервал его капитан, беспокоясь о течи.

— Все исправны; мы их держим на храпу, — отвечал лейтенант. — Не будет ли каких приказаний, капитан?

— Покуда никаких, Николай Алексеич, кроме благодарности вам за то, что вчера заранее успели спустить марсареи. Опоздай вы часом, наверно бы не удержались на якоре, да не мудрено потерять бы и рангоут, а без него плохая шутка: разом повиснешь на какой-нибудь скале устрицею или пойдешь на дно хватать морские звезды!

Лейтенант был настоящий моряк, доброго, но сурового лица, загоревший от солнца всех климатов и несколько сутуловатый от привычки ходить под палубами. Шляпа его была надвинута на самые уши; пестрый шотландский плащ играл около его тела; в руках держал он лакированный жестяной рупор (разговорную трубу). На слова капитана он улыбнулся с довольным видом.

— Это игрушка, — отвечал он, — когда мы хозяйничали с Сенявиным в Адриатике, так, бывало, и стеньги спускали в четверть часа.

— Ныне это признано вредным, Николай Алексеич, —

возразил капитан, пускаясь опять ходить,— снасти и ванты, спутанные на эзельгофте, представляют ветру большую площадь, нежели на выстроенной стенге.

— Хорошо, что здесь нет осенью тифонов,— продолжал лейтенант, обращаясь к лейтенанту Белозору, у которого снял он должность,— а то поневоле бы стали делать все по-нашему. Бывало, эти смерчи, как бесы перед заутреней, выются около носу; но если страшно попасть к ним в передел, зато весело глядеть, как они образуются и рушатся попеременно. Черное облако вдруг, как ворон, слетает на море, свертывается воронкой, то вытягивается ниткою на вихре, то бежит столбом, и между тем как молния обвивает его и море кипит, словно котел, видно, как смерч пьет воду.

— Плохой же он моряк, Николай Алексеич,— отвечал шутя Белозор, статный молодой человек, на котором из-под распахнутой шинели виден был аксельбант. На русском флоте адъютанты многих адмиралов поступают для кампаний в флотские должности по чинам,— Белозор был из числа их.— Я уверен, что наши балтийские тифоны,— примолвил он,— бывают опаснее для пуншевых стаканов, чем для заливов и проливов соленой воды.

— Конечно, так, моя невская яхточка,— ему бы следовало поучиться у нашего брата, старого моряка. Вода создана для рыб и раков, вино — для женщин и детей, мадера — для мужей и воинов, но ром и водка — для одних героев.

— Следственно, бессмертие для меня закупорено навеки: я не могу равнодушно глядеть на бутылку с ромом.

— И я тоже, любезнейший, и я тоже; у меня сердце бьет рынду, когда я завижу ее. Послужи с мое да испытай столько же бурь, тогда уверишься, что добрый стакан грогу лучше всех непромокаемых шинелей и всех противопростудных лекарств; как цапнешь темную, так два ума в голове; на валы смотришь, как на стадо барашков, и стенгц хоть в лучок гнутя — и горюшка нет!

— А какова была прошлая ночь? Если б не темнота, и на твоём лице, Николай Алексич, полюбовались бы мы милостиво бледностью.

— Черт вытравил мою душу, если моё лицо не столь же мало сделано для румянца, как и для бледности. Буря — моя стихия. Подавай нам почаще таких ночей, по крайней мере не заржавеет; а то скука возьмёт, стоя на якоре до того, что он пустит корни, как пульс, ощупывать канаты и сквозь сон покрикивать: «заложить сейтали, — не зевать на стопорах!» То ли дело шторм? Уму, и рукам, и горлу раздолье; вся природа пляшет тогда по дудке твоей!

— Слуга покорный за ваше раздолье... Вчерась я промок до самой души, проголодался, как морская собака, и должен был холоден и голоден отправиться спать, потому что нельзя было развести огня ни под котлом, ни в камине. К довершению удовольствия, меня дважды выкинуло качкой из койки, на которую сквозь палубу, как в решето, лилась вода струями.

— Ах ты, пряничная рыбка, любезный мой Виктор Ильич! Тебе бы хотелось небось, чтобы корабли плавали в розовом масле, ветер только целовал паруса, выкроенные из дамских платьев, и лейтенанты танцевали бы только повахтенно с красавицами!

— Без всякого сомнения, не отказался бы я погреть теперь сердечко подле какой-нибудь леди в Плимуте или дремать в тамошней опере после сытного обеда, чем слушать медвежий концерт ветров и всякую минуту ждать отправления в безызвестную экспедицию.

— По мне, на берегу в тысячу раз больше всяких опасностей, того и гляди, что спроворят кошелек или сердце. Когда ты обманом прибуksировал меня в доме Стефенсов, я не знал, в которую сторону обрасопить нос... Пол в гостиной, казалось мне, волнуется, и я обходил каждую фарфоровую вазу, как подводный камень. А पुще всего, эта проклятая мисс Фанни навела на меня зажигательные свои глазки так метко, что я готов был бежать от нее по пятна-

дцати узлов в час... Да ты не слушаешь меня, рассеянная голова!

В самом деле, Белозор, стоя на пушке, уже стремился взорами к берегам Голландии, как скоро мысль его попала на проторенную дорожку — на женщин. Подобно голубю, отпущенному с коврига, она летела в край неведомый и возвратилась с веткою маслины. Заветный берег казался ему раем: там живут добрые, умные люди, там цветут красавицы, и в них, может быть, бьются сердца, готовые любить и достойные любви!.. Двадцать пять лет — опасный возраст, милостивые государи, особенно для людей, заключенных в плавающем монастыре, и Белозор, волнуемый болезнью, которую мы привыкли называть молодостью, воспламенился пред неясною, неопределенною мечтою своего создания. Он так нежно, так страстно глядел на Голландию, как будто в ней зарыли клад его счастья, невозможность подстрекала еще больше его любопытство побывать там, и он, любясь на плотины, о которые оперлось море и из-за коих виднелись только мачты кораблей, как подводный лес, да там и сям крылья мельниц и стрелы колоколен, хотя и не выронил слезы, которая бы очень романически сорвана была вихрями и слилась с бездною океана, но вздохнул, и вздохнул очень глубоко. Не могу скрыть этого важного обстоятельства, как верный историк и покорный слуга истине.

Уже начинало смеркаться. Ветер засвежел снова и скоро обратился в шторм; но как все предосторожности были приняты, экипаж с уверенностью ожидал ночи. В это время в тесном горизонте показались паруса трехмачтового корабля, идущего с океана. Гошимый бурею, он быстро приближался к флоту под рифмарселями. Скоро разглядели, что это военный английский корабль, красный флаг его сверкал как молния в тучах. Все трубы, все глаза обратились на пришельца.

— Посмотрим, каково этот джентльмен ляжет на якорь в такую бурю! — сказал лейтенант Белозор.

— Он просто сумасброд, — прибавил вахтенный лейте-

нант,— форсирует парусами, входя в линию, когда в одни снасти дует так, что нельзя справиться. Посмотри, как гнутся его стеньги, мне кажется, я слышу, как трещат они. Или у него в кармане есть запасные мачты, или черти вместо матросов.

Опознательный флаг взлетел на адмиральском корабле и повторился на репетичном фрегате, который нарочно стоял на виду за линией, но приближающийся корабль бежал вперед, не отвечая.

— Что это значит?!— вскричали многие с изумлением.— Нет ответа!

— Он держит прямо на каменную гряду,— с беспокойством сказал вахтенный лейтенант.— Смотреть хорошенько сигналы.

Три флага вместе мелькнули на адмиральской грот-стеннге.

— Нумер сто сорок три!— закричал штурманский ученик. Лейтенант развернул сигнальную книгу.

«Идущему с моря кораблю войти в линию и лечь на якорь подле флагманского, слева».

— Есть ли ответ?— с нетерпением спросил вахтенный лейтенант.

— Никак нету-с,— отвечал штурманский ученик. Недоумение и страх всех возрастали с каждой минутой.

Тот же сигнал повторился, но с выговорной пушкой,— корабль, как будто не обращая на то внимания, катился прямо на роковую банку. Напрасно адмирал поднимал остререгательные сигналы за сигналами, он не убавлял парусов, не переменил направления; все с замиранием сердца смотрели, как он неся к верной гибели.

— Он не понимает наших сигналов,— вскричал вахтенный лейтенант,— он, верно, идет не из Англии для освежения наших кораблей, а с океана; только неужто незнакома ему эта гряда? Она означена на всех картах!

— Он погибнет,— произнес Белозор,— если сию же минуту не ляжет в бейдевинд!

Мгновение было роковое. Вахтенный лейтенант, вскочив на сетку и наклонившись всем телом вперед, так увлекся видом чужой опасности, что изо всей силы кричал им по-английски:

— Don't skid away, my boys! Hand a port and close up to the wind! Не держи прямо — лево на борт, и круче к ветру! Лево на борт! — повторял он, махая шляпой, как будто бы голос его мог пронзить расстояние и рев бури.

Наконец на корабле, казалось, заметили всплески бурюнов, которые, как печь, дымились прямо перед их водорезом, и люди закипели на нем, как муравьи, реи обратились вдоль корабля, передние паруса заполоскались с отданными шкотами, и бизань, самый задний парус, распахнулась, чтобы ветром, в нее ударяющим, быстрее поворотило судно боком, но не успела бизань наполниться, как порыв бури вырвал ее вон; лопнувший парус грянул, как выстрел, и лоскутья разлетелись по воздуху.

— У него отбит руль! — произнес вахтенный лейтенант, отвращая глаза. — Ему нет спасения!

Мертвая тишина воцарилась между зрителями. С ожиданием, расторгающим душу, устремили все глаза на жертву, которую влекла неумолимая судьба к бездне. Страшно видеть смерть и одного человека, но быть свидетелем гибели многих сот товарищей и не иметь возможности помочь им — неизъяснимо ужасно!

Обреченный смерти корабль, — будто корабль-привидение, который мечтают видеть порой суеверные пловцы в вечной борьбе с непогодами, исчезая и появляясь на страхе им, — лишенный средств управлять бегом, с новой быстротой кинулся по ветру. На нем видна была тревога: люди взбегали и сбегали по вантам, сетки унижены были матросами, они простирали руки, прося о помощи, и напрасно: последний час их пробил.

Со всего расходу ударился он о подводную скалу. Этот удар отдался в сердцах всех наблюдателей, исторгнув из них стон сострадания. Стеньги, мачты, самая громада

корабля разрушилась в обломки и в один миг; паруса, затрепетав, разлетелись, как перья, огромный вал поднял разбитый остов и снова грянул его о незримые утесы.

— Все кончилось!— сказал Белозор, сплеснув руками в тоске отчаяния. В самом деле, там, где за минуту был корабль, теперь кипели одни буруны, распыскиваясь по-прежнему друг о друга, и только вихорь завывал, только алчное море ярилось и бушевало.

— Флагман поднимает сигнал,— закричал с юта штурманский ученик.— Нумер двести семь: помочь утопающим.

— Благородное приказание,— сказал капитан, следя глазами трех человек, которые всплыли на рею и, заливаемые волнами, боролись вдали со смертью.— Благородное приказание, но его невозможно исполнить.

— Стыдно будет русскому находить в том невозможность, что англичанин признает за достойное,— с жаром возразил Белозор.— Позвольте мне, капитан, взять какое-нибудь гребное судно.

Капитан, вполтину недовольный противоречием, вполтину изумленный смелостью Белозора, строго взглянул на него и отвечал:

— Я не могу вам запретить этого, господин лейтенант, но поверьте моей опытности, что вы утопающих не спасете, а себя утопите.

— Я рад погибнуть там, куда призывает меня долг чести и человечества. Итак, я могу?..

— Можете; я позволяю, но не советую вам. Все большие гребные суда на рострах, а мелкие — все равно что гроб.

— Я готов пуститься в решете,— вскричал обрадованный Белозор,— веселей погибнуть вместе с другими, чем глядеть, сложа руки, на их гибель. Охотники, за мной!

Там, где дело идет о великодушной смелости, между русских солдат в охотниках не бывает недостатка. Человек тридцать кинулось за отважным лейтенантом, но он, выбрав пятерых самых проворных, сжал руку другу своему

Николаю Алексеичу и вскочил в четверку, висящую на боканцах, при кликах товарищей: «Благополучного возврата!»

Грунтов и тали, то есть веревки, ее держащие, были обрезаны, и он полетел в разверстую пучину.

ГЛАВА II

О боже! Как мучительно казалось мне утопление! Какой ужасный шум воды в ушах моих! Какие отвратительные зрелища смерти пред глазами! Мне снилось, будто я вижу обломки тысячи страшных кораблекрушений, тысячи трупов, коих грызли рыбы, слитки золота, огромные якоря, груды жемчугов, неоцененные камни и украшения, разбросанные в глубине моря; иные сверкали в человеческих черепах, во впадинах, где витали некогда очи!

Шекспир

Ниспав с вышины борта двухдечного корабля, шлюпка исчезла в брызгах и пене, и в один миг великий вал унес ее далеко за корму. Пловцы наши едва-едва успели шапками отчерпать воду, и Белозор в тот же час велел поставить мачту и поднять до половины парус. Когда он оглянулся, флот был уже далеко назади, и он чуть различил стоящего у вант вахтенного лейтенанта, который следил взорами бесстрашного друга. Рей, на котором спасались утопающие, порой виден был, всходя на валы, мелькаяючи концом паруса; но этот самый парус, вздуваемый иногда ветром, заставлял обращаться рей беспрестанно и погружал в воду прильнувших к нему несчастливцев. Напрасно всползали они наверх, чтоб дышать воздухом, строптивное бревно топило их снова и снова, и когда подспела помощь, силы их оставили: Белозор уж никого не нашел на нем.

Пожалев о безвременной гибели утопших, надо было позаботиться о собственном спасении. Нечего было и думать о возвращении на корабль против ветра и волнения; Белозору оставалось одно средство — отдаться произволу стихий и попытать счастья пристать к берегу, чтобы на нем провести ночь и переждать, покуда стихнет буря. Вздумано — сделано. Правя гораздо левее города, он стрелой летел ко враждебному краю, где смерть или плен сторожили его. Он хладнокровно смотрел на влажные утесы, с плеском и воем наперерыв догоняющие утлую ладью. Кипя, склонялись они кудрявыми главами над кормою, готовясь обрушиться, рушились и выносили ее на хребте своем, как ореховую скорлупу. Сам Белозор сидел на руле, трое отливали воду, а двое остальных держали на руках шкоты. Видя спокойное лицо начальника, они полагали себя в полной безопасности. Скоро совершенно стемнело. Вдали замелькали между валов огни городские и слышался ропот прибоя, словно шум толпы народной. Белая гряда бурунов, как рубеж смерти и жизни, кипела перед ними; матросы, притаив дыхание, крестились, ожидая удара; страшно плескалось и стонало море между камнями.

— Не робей, ребята!— говорил Белозор своим людям.— Куртки долой, и, если опрокинет, хватай весла, и чуть коснулся дна — карабкайся дальше, чтобы другой вал не утащил опять в море! Держись!

Как щепку взбросило ялик на бурун, и стремглав ударило его на камень. Перекинутые через эту водную стену спорных валов, оглушенные падением, пловцы наши спасены были только веслами, за которые они уцепились, ибо плавать не было никакой возможности. Уже все матросы были на берегу, но Белозор не показывался. Добрые матросы бежали навстречу каждому валу, думая выхватить из него любимого начальника, но он разбивался в пену, убегал, набегал снова,— и все напрасно! К счастью, когда вдребезги разрушилась шлюпка, Белозор удержал в руке своей руль, которым правил, и он-то дал ему силы удер-

жаться на толчее, в которую попался; мощный вал далеко выбросил его на берег.

Притаясь в кустах ив, коими обсажены все голландские плотины для скрепы их, наши моряки дрожали от холода, но веселость, это ничем не угнетаемое качество русского народа, и тут их не покидала.

— Ух, какой ветер!— сказал урядник, пожимаясь.— Чуть душу не вывет.

— Держи крепче зубами,— возразил другой.

— Шути, шути!— отвечал урядник.— Выползли мы, как раки, чтоб не замерзнуть, как ужам после воздвиженья.

— А вот взойдет казацкое солнышко, так просушим сапоги, а сами надрожимся до поту,— прибавил третий.

— Уж этот месяц! Светит, а не греет,— даром у бога хлеб ест. Покурил бы, право, хоть трубки, авось бы стало теплее,— сказал четвертый.

— Жаль, брат, что ты раньше не догадался,— возразил второй,— из глаз у меня, как с огнива, искры посыпались, когда головой ударился о плотину.

— Что вы раскудахтались, словно куры в корабельной клетке, не даете доброму человеку заснуть,— сказал третий матрос.— Спи, Юрка, небось нашему брату не впервые в грязи отдыхать, оно и мягче; чарку в головы, лег — свернулся, встал — страхнулся.

— Лечь-то ляжешь, и в бараний рог свернуться нехитро, а уж вставать-то как бог даст,— отвечал Юрка.

— Вот нашел, о чем заботиться,— примолвил урядник,— показать только линек — и так благим матом вспрыгнешь, словно заяц с капусты.

Так шутили между собой полунагие матросы и между тем зябли без всяких шуток. Белозор, который желал теперь быть за тридевять морей от земли, которая за несколько часов казалась ему обетованною, напрасно завертывался в мокрую шинель свою,— холод оледенял его члены.

— Вставай, ребята!— сказал он наконец.— Пойдем ис-

кать ночлега; авось набредем на добрых людей, что нас не выдадут, а утром, коли стихнет буря, захватим рыбацью лодку и опять в море!

Так передавал он подчиненным надежду, которой не имел сам.

— Только не расходитесь,— примолвил он, пускаясь вперед по плотине,— да не говорите громко по-русски, чтоб не наделать тревоги!

— Меня не узнают,— уверительно сказал Юрка,— я так маракую толковать на их лад.

— Где же ты выучился говорить по-голландски?— спросил Белозор, очень довольный, что будет иметь переводчика.

— Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, Виктор Ильич, так промеж них наметался по-татарски.

— И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, когда ты станешь болтать им по-татарски?

— Как не понять, ваше благородие,— ведь все одна нехристь,— отвечал очень важно Юрка.

Сколь ни печально было положение Белозора, но он не мог удержаться от смеха. Запретив, однако ж, своему домо-рощенному ориенталисту выказывать свою ученость, он, как новый Эней, вел маленькую дружину куда глаза глядят. Долгая узкая дорога, насыпанная валом по низменному берегу, вела все прямо, но куда — рассмотреть было невозможно. С обеих сторон то просвечивали болота, то чернелись ямы турфа, подле коих возникали пирамиды его, изрезанного в кирпичи. Шумный ветер препятствовал слышать какой-нибудь голос.

Прошедши таким образом версты две внутрь земли, наши путники обрадованы были журчанием воды, как будто прорывающейся сквозь затвор мельницы, и скоро достигли до уединенного каменного строения, примыкающего к шлюзу огромного болота. Колесо не действовало, и вода, пущенная в русло, шумела там сильнее. На дорогу не было окон, но по болоту змеилась полоса света, вероятно из об-

ращенного на него окна... Русские остановились в раздумье: идти ли, не идти ли им в середину.

— Ну что, ежели там французы!— сказал Белозор.

— Хоть бы целая рота чертей, ваше благородие,— возразил урядник,— все-таки лучше, нежели умирать с холоду.

— Я так голоден, что готов съесть жернова,— прибавил другой.

— А я так устал, что засну между шестернями,— присовокупил третий.

— Плен краше смерти, Виктор Ильич,— возгласили они вместе,— ведь французы нас не съедят!

— Не в том дело, друзья мои. Надо бы так умудриться, чтобы за один ночлег не заплатить свободой; надо биться до самого нельзя, чтоб избежать плена; мельница далеко от другого жилья, а мы волей и неволей заставим хозяина скрыть нас, а утро вечера мудренее. Вооружитесь-ка чем попадется да войдем потихоньку!

Выдернув рычаг из ворот на подъеме шлюза, Белозор ощупью отыскал дверь; против всякого чаяния, она была отперта настежь. Вступая в широкие сени, которые служили вместе и мучным анбаром, насилиу доискались они между мешками входа в комнаты. С трепетанием сердца повернул Белозор ручку и очутился в теплой и светлой поварне, в этой приемной палате голландцев. В огромном очаге, у которого стенки выложены были изразцами, а чело из красной меди, весело пылал огонь и близ него на вертеле разогревался кормный гусь. Светлые кастрюли дымились на чугунной плите. Кругом на полках из лакированного бука нисалась, как жар сверкающая, посуда. Осанистые кувшины и жеманные кофейники со вздернутым носиком, подбоченясь, красовались в углу на горке. Цветные склянки вытягивали утиные шейки свои друг перед другом; высокие бокалы, как журавли, стояли на одной ноге, и несколько старовечных чайников с длинными носами точно рассказывали что-то друг другу на ухо. Во всем виден был домовитый порядок, пленительная чистота и какое-то приветливое госте-

приимство. Самые блюда будто сверкали радушною улыбкою.

К удивлению, однако же, они не видели никого в этом приюте, словно духи приготовили ужин для голодных странников, которые с каким-то благоговением разглядывали все безделицы и поглядывали на яствы. Только у дверей на гладком кирпичном полу, свернувшись, лежала собака, но она не лаяла, не шевелилась.

— Экая благодатная земляца,— сказал один матрос,— и собаке-то ночью службы нет!

— Она, брат, неспроста не лает,— робко молвил другой, указывая на зажженное ромом блюдо плумпундинга,— здесь все заколдовано.

— От часу не легче,— вскричал урядник, отворив двери в соседнюю комнату и увидев на постели женщину со связанными руками и платком во рту.— Что бы это значило?

— Видно, говорлива была,— сказал другой.— Ведь хитрый же народ эти голландцы: умудрились пленать баб, когда им нечего делать. Да этакую заведенцию и нам бы перенять не худо, а то как они разболтаются, хоть святых вон понеси!

— Да вот и мужчина!— вскричал третий, запнувшись за чье-то туловище. В самом деле, толстый мельник, что можно было угадать по напудренному его платью, закрыв от страха глаза, лежал связанный на полу... Шум в следующей комнате прервал их рассуждение о странных обычаях в Голландии. Казалось, кто-то говорил повелительно, другие голоса, напротив, жалобно упрашивали. Дверь была заперта.

— Отворите!— вскричал Белозор по-французски, внемля стуку и крику за дверью.— Отворите!— повторил он, потрясая задвижками.— Или я выломлю двери.

— *Quel drôle de corps s'avise d'y faire l'important?* Кто смеет там важничать?— отвечали ему многие голоса на том же языке.

— Отворите и узнаете!

— Va te faire pendre (убирайся на виселицу),— было ответом,— nous sommes ici de par l'empereur Napoléon (мы здесь по приказу Наполеона).

— Если б вы были здесь по приказу самого сатаны, и тогда отворите, или я раскрою не только дверь, но и черепы ваши!

Громкий смех, перемешанный с выразительными клятвами французских солдат, вывел его из терпения; удар ноги высадил двери с петель; они, треща, упали в середину; неожиданное зрелище представилось глазам его.

Четверо французских мародеров, полупьяные, полуоборванные, заняты были грабежом; один, держа свой тесак над головой старика, сидящего в креслах, шарил у него в карманах; другой грозил карабином на прелестную девушку, которая на коленях умоляла о пощаде отца; третий осушал бутылку с накрытого для ужина стола, прибирая в карманы ложки, между тем как четвертый ломал штыком замок железом окованного сундука, который противился его усилиям.

— Halte là, coquins!¹ — произнес Белозор, и вышибленный из рук француза карабин грянулся на пол; вместе с этим он дал такого пинка другому, который грозил старику, что тот полетел в угол. Два камня засvistели еще, и один из них угодил прямо в бок ломающему сундук; он захохотал и выронил штык из рук своих.

— Sauve qui peut, nous sommes cerné (спасайся кто может, мы окружены)!— вскричали испуганные мародеры и опрометью кинулись в растворенное окошко; все это было делом одной минуты.

Старик голландец, одетый в китайский халат, с изумлением поворачивался на креслах то вправо, то влево, и на полном, как месяц, лице его, увенчанном бумажным колпаком, очень ясно видно было, как пробегали облака сомнения: к какому роду причислить своих избавителей? Полдю-

¹ Стойте, негодяи! (фр.)

жины полуодетых, или, лучше сказать, полураздетых, людей, с небритыми бородами и бог весть какого племени, заставляли его думать, что он переменял только грабителей, не избегнув грабежа. Восклицания: «genadiste Good¹, два аршина с четвертью!» и потом *aa*, которое переходило в *oo* и кончилось на *ээ* — двугласных, составляющих основу голландского языка и нрава, доказывали, что ни ум, ни сердце его не на месте. Зато милая дочка его была гораздо признательнее и доверчивее; неожиданный переход от страха к радости так поразил ее, что она чуть не кинулась на шею к Белозору и, схватив его за руку, в несвязных восклицаниях благодарила за избавление. Он раскланивался, она приседала, оба краснели, не зная сами отчего; старик поглядывал на ту и на другого.

Наконец, всмотревшись хорошенько в открытое, благодарное лицо юноши, голландец будто отдохнул.

— Кому одолжен я столь важную услугу? — спросил он по-французски, приподнимаясь с кресел и снимая колпак.

— Человеку, брошенному бурей на ваши берега, который просит у вас не только гостеприимства, но и убежища, — отвечал Белозор. — Я русский офицер! — с сим словом он сбросил с себя шинель и показал аксельбант свой.

— Русский офицер! — вскричал голландец, опускаясь в кресла; как будто эта весть придавила его.

Такое начало не много предвещало добра Белозору. Он знал, что в Нидерландах была тьма партизанов нового французского короля Луциана, и легко могло стать, что хозяин был одним из них.

— Могу ли надеяться найти в вас друга или по крайней мере великодушного неприятеля? Если вы не решитесь скрыть нас у себя на время, то не предавайте французам.

— *Stoor, stoor*², молодой человек! — вскричал с жаром

¹ Милосердный бог (гол.).

² Стой, стой! (гол.)

голландец.— Август ван Саарвайерзен никогда не был предателем, и все голландцы друзья русским со времен вашего Великого Питера, в особенности я; у двоюродного деда моей жены учился он плотничать в Заардаме. Я так же ненавижу французов, как и ты: от всего сердца. Проклятые эти мыши сгрызли наш кредит, как свечку, своею континентальною системою и заставили меня, первого суконного фабриканта в Флессингенском округе, работать на своих грабителей солдатские сукна. Правда, я от этого подряда не в накладе, но слава, слава моих сукон пропадает теперь... А какие у меня делались сукна! Мягче бархата, крепче кожи — и шириной в два аршина с четвертью, *sapperloot!*¹. Ты у меня безопасен на несколько дней вместе со своими земноводными; вот моя рука, и дело в шляпе. Ступай-ка, приятель, сними свой свежепросольный мундир, и потом за рюмкою мы потолкуем, как все уладить.

Ван Саарвайерзен вывел матросов в поварню и поручил избавленной поварихе угощать их, и скоро они уже разговаривали между собою, болтая каждый без умолку по пальцам и языками, будто понимая друг друга как нельзя лучше. Виктору же указал он небольшую комнату, принес ему стеганый халат, сухого белья — одним словом, ухаживая как за сыном.

Через четверть часа наш герой явился в столовую, хотя странность наряда пугала его более, чем неприличие в нем показаться на глаза красавице. Необходимость, впрочем, служила ему и убеждением и извинением; только он никак не согласился надеть на голову пеньковый парик от простуды, несмотря на все увещания хозяина.

Ужин был подан.

Белозор будто ожил, мало что ожил — будто вновь одушевился. Благотворная температура комнаты, вкусные блюда, славное вино, а что всего важнее, близость миловидной девушки развернули его ум и чувства необыкновенною весе-

¹ Тьфу! (гол.)

лостью. Он чокался с хозяином, смеялся с дочкой его, бросал ему шутки, ей приветы и, несмотря на промен пламенных взглядов, не забывал работать ложкой и вилкою. Таков человек, милостивые государи, такова вся природа: жаворонок с неба летит на землю за червячком.

Получив хорошее воспитание, ограниченное, так сказать, столичною жизнью, он свободно мог изъясняться по-французски, а немецкий язык был ему почти природным по матери, урожденной эстландке, и потому беседа их была тем живее, тем непринужденнее. Иной, взглянув со стороны, подумал бы, что Белозор вырос в доме Саарвайерзена.

— Ну, герр Виктор,— сказал хозяин, отдыхая от смеха,— ты чудо малый, и мы с тобой скоро не расстанемся!

— Не нахожу слов выразить мою благодарность...

— Да, пожалуйста, и не ищи: ты вперед заплатил за покой. Знаешь ли, от какой потери спас ты меня своим неожиданным приходом? Sapperloot! Это не безделица: я получил сегодня от французского комиссарства за сукна двадцать тысяч золотых латников; но четверо мародеров, наверно, захватили бы их в плен, если б успели сделать пролом в этом сундуке. Ты очень кстати упал, как с облаков.

— Скажите лучше, выброшен из кита, словно Иона; однако ж, если мне удалось испугать нескольких бездельников, самому придется бегать добрых людей не лучше их. Я думаю, завтра вы нарядите нас в мучные мешки, герр Август?

— Не думаешь ли, приятель, что Август ван Саарвайерзен, первый фабрикант своей области, живет на мельнице? Два аршина с четвертью! Нет, брат, это случаем остался я здесь ночевать, запоздав счетами с своим мельником. Карету я послал в город кой за какими покупками, и завтра мы преспокойно покатаемся в ней на завод мой — флаамгауз. Матросов твоих оденем в фризские куртки и, пускай не погневаются, запрем на заводе в особую комнату, и вон ни ногой: выдадим их за машинных мастеров для станков нового изобретения; такие секреты у нас не редкость. Тебя же пожалуем в дальние родственники; будто приехал из

Франкфурта погостить и поучиться порядку; а между тем приищем верных людей, которые бы взялись доставить вас мимо брантвахты на флот. Теперь это нелегкая вещь: строгость неимоверная, время осеннее; но пусть говорят что угодно, а мы докажем, что золото плавает на воде!

Белозор чуть не прыгал на стуле от удовольствия; мысль, что он проведет несколько дней близ Жанни (так называлась дочь хозяина), делала его счастливым. Несколько дней — это целый век для юноши, так, как червонец — неистощимая казна для дитяти. Воображение надувало своим газом шар его надежды, и сердце мечтателя летело с ним за облака. Прелесть романической встречи занимала его более, чем истинное желание. Полон любовной чепухой, раскланялся он с добродушным голландцем и с резвою его дочкою, — и сон, как пуховик, охватил восторженника своими ласкательными крылами.

ГЛАВА III

*In slumber, I pry thee how is it,
That souls are oft taking the air,
And paying each other a visit,
While bodies are — Heaven knows where?*
Thomas Moore¹

Расскажите, пожалуйста, каким образом бывает во сне, что души прогуливаются (это спрашивает Мур) и платят друг другу визиты, между тем как тела бог весть где? Этот же самый вопрос повторял сам себе Виктор, пробужденный звоном серебряного колокольчика в комнате Саарвайерзена от сладкого сна и еще сладчайшего мечтанья, в котором образ милой голландочки играл, кажется, не последнюю роль.

¹ Как это происходит, спрашиваю я тебя, что во сне души путешествуют по воздуху и посещают одна другую, в то время как тела их находятся бог знает где? *Томас Мур (англ.)*.

Он улыбнулся и вздохнул, заметив, что прильнул устами к подушке, которую страстно прижимал к груди своей, но, вспомня, что одно ласковое слово наяву лучше сонного поцелуя, он поспешно вскочил с постели, повернул кран, вделанный в стене, и, с помощью душистого мыла, щеточек и гребеночек, сгладил с лица своего все следы кораблекрушения. Туалет юноши короток: ему стоит только освежить то, что даровала природа, между тем как человеку в летах надо не только скрыть недостатки, но еще подделать красоты, которых уже нет. К большому удовольствию, Виктор нашел на месте халата франтовской сюртук, привезенный уже из города. Преобразившись, таким образом, в гражданина и закрутив перед зеркалом черные свои волосы в крупные кудри, Виктор явился в общую комнату, в которой дымился уже самовар, как жертвенник.

— Поздняя птичка, поздняя птичка!— сказал Саарвайерзен, протягивая к нему руку.— Долгий сон, два аршина с четвертью!

Но когда Жанни, подняв на него свои голубые глаза, произнесла свой: «Bonjour, M. Victor»¹,— голос у него замер вместе с дыханием и лицо загорелось как утреннее небо: так прелестна, так очаровательна показалась ему голландочка. Волосы трубами распадались по статным плечам ее из-под легкого кружевного чепца, живописно сдернутого лентой. Вдохновенный фламандскою поэзией, я бы сказал, что румянец на щеках ее подоился розам, плавающим на молоке. В ямочках, напечатленных улыбкою, таились микроскопического роста амурь; два полушара, будто негодую друг на друга, пробивались сквозь ревнивую ткань утреннего платья, и легкий стан, который, кажется, манил руку обнять себя, и, наконец, две ножки, обутые в зеленые атласные башмачки, ножки, кои обращали в клевету укор путешественников, будто в Голландии нет стройных следков,— ножки, которые сам причудливый Пушкин мог бы помес-

¹ Здравствуйте, г. Виктор (*фр.*).

тить вместо эпитафии какой-нибудь поэмы,— одним словом, все, от гребенки до булавки, восхищало в ней нашего героя. Жанни с кофейником в руке олицетворяла для него Гебею, разливающую нектар небожителям, который потягивали они, конечно, не от жажды, но от скуки, и он признавался мне, что никак не рассердился бы на случай, если бы с этой полубогиней повторилось несчастье, не терпимое этикетом олимпийского двора, за которое она отставлена была без мундира и удалена от пресветлых очей тучегонителя Зевса.

Он был еще в том золотом возрасте, когда мы не ищем связей, но жаждем любви и, послушные внушениям сердца, предаемся ей беззаветно, требуем нераздельной взаимности. Впоследствии испытанные и, может быть, усталые в игре любви, мы гоняемся более за умом, нежели за чувством, и блестящие дамы увлекают нас скорей, чем застенчивые девушки. Тогда вкус наш притуплен; ему нужна острота для возбуждения, и, сидя подле прелестной скромницы, только из учтивости поглощаем мы зевоту и потихоньку шепчем с Байроном: то ли дело дама! Для нее не нужно переводчика, чтобы понять, о чем говорится, и, водя вас за нос и приклеивая вам нос, она дарит приятнейшими часами; а девушки умеют только прелестно краснеть, притом же они так пахнут бутербродом (toasts)!

Виктор, как мы уже сказали, не достиг еще до этой премудрости и, полюбя душой, искал только души, которая бы вполне отвечала ему, любил для того, чтобы любить, а не уминать. Сердце его полетело навстречу девственному сердцу Жанни, которая недавно бросила куклы и еще не привыкла к автоматам — одноплеменцам своим. Семнадцать лет — роковое время даже по Брюсову календарю, а Брюсов календарь, как вам известно, безошибочный оракул, и появление Викторовой звезды на сердечном горизонте милой голландочки грозило каким-то чудным сочетанием планет.

Приятная наружность, веселый, откровенный нрав, а всего более бесстрашие его для спасения утопающих, по-

мощь, им оказанная, и опасность, висящая над его головою,— все это вместе заронило в грудь Жанни такие искры, которые не хуже греческого огня зажгли бы сердце в воде, не только во фламандском тумане. Как ни малоопытен был новичок наш, однако ж заметил, что если перед ним не спускали еще флага, по крайней мере салютовали равным числом вздохов — вещь, равно лестная его самолюбию, как и радостная для его склонности. В короткое время их знакомства они уже бегло изъяснялись пламенным наречием взоров и в один час говорили друг другу столько новостей посредством этого телеграфа, что сердцу было на целую неделю работы пояснять и дополнять недосказанное. Жаль, право, что в наш изобретательный век не приспособят этого наглядного, или, лучше сказать, ненаглядного, средства ко взаимному обучению. Я уверен, что самый тупой ученик, с помощью пары женских глазок, в несколько заседаний станет понимать обо всем, как славный Пико де ла Мирандола, который на двенадцатом году выдерживал ученые споры на всех живых, мертвых и полумертвых языках.

Занят или, лучше сказать, поглощен созерцанием своей Жанни, молодой моряк очень рассеянно отвечал на вопросы и шутки хозяина; но, к счастью, тот, прихлебывая звездистое кофе, дымя трубкою и пробегая листок купеческой газеты, мало обращал внимания на все, что не носило на себе вида нумерации.

Скрипнувшая дверь заставила, однако ж, всех обратить на нее взоры; входящий в комнату был человек высокий, худощавый, в черном фраке, скроенном еще во времена Рюйтера, в плисовых штанах с тяжелыми пряжками и в дымчатых шерстяных чулках, замкнутых в обширные башмаки. Лицо его походило на солнечные часы,— так выставлялся вперед тонкий нос его; мигая, он так высоко подымал брови и так бросал зрачками, как будто они хотели перепрыгнуть через нос, чтобы повидаться. Он беспрестанно силился улыбнуться, но, правду сказать, оставался при одном желании. Очень значительно побрякивая, стал он рас-

кланиваться, и при каждом сгибе осанистая коса его перекатывалась со стороны на сторону: казалось, хребет его и его коса (то есть хвостик, прицепленный разумнейшим из существ к своему затылку) были рождены друг для друга; невозможно было представить себе эту спину без косы или эту косу без такой спинки. Чудак этот был бухгалтер Саарвайерзена — занятие, которое можно было угадать по исполинской книге, которую тащил он под рукою; на ней, на зеленом сердечке, написано было заглавными буквами: «Groos Buch»¹.

— Добро пожаловать! — вскричал хозяин, завидя его. — Мы тебя только и ждали. Дай-ка твоего табачку, Гензиус!

Гензиус, который был, так сказать, двуногою табакеркою хозяина, скрипнул систематически крышкою и с почтением поднес табак Саарвайерзену.

— Ну, что новенького в городе? — спросил тот, понюхивая.

Рот Гензиуса растворился, как шлюз.

— Ничего, — отвечал он.

— Что говорят оранжисты, что делают наполеоновцы?

— То же, что и прежде, — возразил преважно бухгалтер.

— Ну, брат Гензиус, из тебя и пробочником не вытянешь весточки; будь я король, я бы как раз произвел тебя в тайные советники. Расписался ли по крайней мере ван Заатен в получении последней отправки сукон?

Этот вопрос навел Гензиуса на родную колею; он с торжествующим видом раскрыл книгу и указал на страницу, унизанную нулями, как бурмицкими зернами. Лицо хозяина просияло.

— Чудная сделка, славный барыш, — ворчал он про себя. — Право, завод мой не воздушные вавилонские сады и мой кредит крепче пирамиды фараонов. Ну, господа, теперь можно и отправляться im Goodens паатеп (во имя божие).

¹ «Главная книга» (гол.).

Все было готово к отъезду в одну минуту. Карета, запряженная четверкою огромных фризских коней, потрясла шоссе, подъезжая, и путешественники покатились в ней к столице фабриканта. Хозяин с дочерью поместился в задней половине, Гензиус и Виктор — в передней, и он так был доволен, так восхищен, сидя против милой голландочки, что сколь ни новы были для него окружающие предметы, сколь ни любопытно путешествие по чуждой земле, он ни разу не выглянул за окошко. Многие с нетерпением скачут по дороге, не наслаждаясь удовольствием ехать от излишнего желания доехать; напротив, мой Виктор был счастлив путешествием, одним путешествием; он желал бы сделать из него вечное движение; весь мир его качался тогда на одних с ним рессорах. Он умолял только судьбу, чтобы она наслала на колесницу их морскую качку, чтобы дорога была круче и ухабистей, — и знаете ли, для чего? Чтобы колено его могло коснуться колена красавицы — опыт, который ему удался только однажды, и оставил сладостное ощущение навсегда. Очень любопытно бы знать, какой степени электричества доступно колено хорошенькой женщины? Виктор уверял меня, что он почувствовал тогда удар, как от прикосновения к электрической рыбе, а что всего замечательнее, удар этот произошел, несмотря на то, что ни в одном из них не было отрицательного электричества. Предлагаю эту задачу на разрешение гг. физиологов.

Итак, милостивые государи, вы бы напрасно ждали от Виктора кудрявых рассказов о своей поездке, о том, пуста или населена была дорога, живописно или однообразно местоположение, по горам или по болотам ехал, о том, что встретил он достойного внимания и недостойного памяти, ни очень любопытных рассуждений о характере народа, основанных на фигуре кровель, на счетах трактирщиков и на ухватках почтальонов, ни встреч, никогда не бывалых, ни историй, никогда не случившихся, — одним словом, ничего, составляющего основу романических путешествий. Но зато

он очень хорошо познакомился со всеми прихотями Жанны и мог описать вам топографию малейшего родимого пятнышка на ее лице.

Между тем плавно зыблущаяся карета быстро неслась далее, приближалась и приблизилась к мете. Виктор был в каком-то забытьи; он не замечал не только ученых толков Саарвайерзена о постройке и поправке плотин, не только серебряной табакерки Гензиуса, которую тот подносил, потчуя гостя, к самому носу, но даже времени и пространства. Такие часы сладостны и невозвратны; многими крестами означены они в истории нашего сердца, и увы! — крестами надгробными; они драгоценнее для нашей памяти целых годов, заметных для света и, может быть, славных или выгодных для самих себя, но пустынных для души, с которой обрывают они радости зимнею своею рукою.

Приехали... Дверцы распахнулись... Виктор очнулся, наконец, как лунатик, пробужденный на колокольне; но когда нежная ручка, опершись на его руку при выходе из кареты, нежно пожала ее, когда ангельская улыбка отвечала на его приветствие, когда серебристый голос произнес: «Вот ваша темница, Виктор!» — то он готов был божиться, что дом Саарвайерзена, построенный в тяжелом фламандском вкусе, осьмое чудо света и во сто раз прелестнее всех мавританских замков в Альгамбре, — верьте после этого описаниям любовников!

Попросту сказать, дом этот, построенный на обширной площади, весьма походил на картонный. Он сложен был из нештукатуренных, но гладких кирпичей, и высокая кровля его убрана в узор муравленою черепицею. Возвышение, заменяющее крыльцо, простиралось во всю длину дома, и всякий балкон служил оному навесом. Окна нижнего жилья были до самого пола; в середине над прилепом (карнизом) чернелись часы, которые, словно аргусовыми очами, глядели на два крыла строений, в которых помещены были службы и фабрика. Двор, несмотря на осеннее время, был чист как стекло; стены, вымытые мылом и вытертые щетками,

лоснились; окна сверкали ясными стеклами, рамы и двери — лаком и бронзой; необыкновенный порядок был виден во всем.

Жанни, как ветер, порхнула в объятия своей матери, голландской барыни в полном смысле слова. Вообразите себе барашка, сделанного из масла, которого произвела рука домашнего ваятеля для увенчания кулича о светлой, и вы схватите нечто похожее на фроу (vrouw) Саарвайерзен, прибавя, разумеется, к этому целые пуки брабантских кружев, ключей и приседаний. Иль если вы видели в Эрмитаже куклу хозяйки Петра Первого, вы видели мать Жанни. Впрочем, никто в свете не мог быть добрее и ласковее ее.

Волей и неволей потащили молодца осматривать комнаты; неумолимые хозяин и хозяйка терзали его, как журналисты читателей при академической выставке; каждая редкость была ему колесом пытки. Виктор слушал, крепя сердце.

Внутренность покоев, то обитых богатыми восточными тканями, то убранных резьбою на орехе, отличалась более чудесностью и богатством, нежели вкусом и красотою. Огромные японские вазы из синего с золотом фарфора стояли, прегордо надувшись, по углам, и в них красовались бархатные и парчовые цветы, разливая земное благоухание. Дело затейливых одноземцев Конфуция, восковые и фарфоровые мандарины насмешливо качали головками на закраинах каминов, и только одни картины Теньера, ван дер Неера, ван Остада, Рембрандта, Вувермана и других известных живописцев фламандской школы заслуживали внимание.

— Каков этот Ван-Дик, дружище, — аа? — сказал хозяин. — Закладую его против мускатного ореха, если в самом Брюсселе найдется ему пара! А этот портрет нашего героя Витта? От него поневоле сторонисься, чтоб не задеть за нос, — так он выходит из рам. Вот вид морского

сражения, за которое расстреляли англичане своего адмирала Бинга для ободрения прочих; настоящее Зюйдерзее со своими желтыми валами; небо тает, дым разлетается,— чудо, а не картина! Этот кальян выменял, или, правду сказать, выманил, я у английского путешественника,— он принадлежал шах-Аббасу. Эти часы, в виде петуха, достал я прямо из Кантона. Они подарены императором Юнчаном Мудрым мандарину, которому он очень милостиво отрубил голову за возмущение, поднятое иезуитами... Это кинжал Типпо-Саиба, эта вилка от того самого ножа, которым убит Генрих IV, это...— Но, милостивые государи, у меня нет прекрасной дочери, для которой бы вы стали, подобно Виктору, слушать все описания игрушек, и редкостей, и сосудов, орудий домашних, а потом: почему это так, а не иначе, и вновь: почему иначе, а не так, как у прочих.

Через вседневную, потом праздничную спальни добрались, наконец, до торжественной, и она, как десерт, заключила пластический обзор. Госпожа Саарвайерзен с гордым видом показывала чужеземцу вышитые ею ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его при виде брачной кровати, истинного памятника ее искусства, который, по ее мнению, передаст ее славу позднешему потомству. Десять уступов подушек мал мала меньше восходили к бессмертию двумя пирамидами, и красный атлас проглядывал на них сквозь батистовые наволочки, словно заря. Кружевной полог спускался к ним навстречу, подобный туману, и стеганное хитрым узором голубое покрывало вздымалось морем. Смертный, который бы дерзнул лечь на это божественное ложе, конечно бы, утонул в жарких волнах гагачьего пуха, и потому оно от незапамятных времен назначалось только покоить взоры.

Посвященный во все элевзинские таинства Саарвайерзенова дома, Виктор отдохнул за столом от скуки и усталости и, весело кончив вечер, заснул весьма доволен собою и судьбою.

ГЛАВА IV

*Довольно я скитался в этом мире
Вдали моих отечественных звезд:
Я видел Рим — величия погост,
Британию в морской ее порфире,
Венецию, но Поцелуев мост —
Милее мне, чем Ponte de Sospiri¹.*

Мерно и однообразно текла жизнь обитателей флаам-гауза. Маятник счетом назначал долготу их занятия, их досугов, колокол неизменно звал к столу и к отдыху, даже к самому удовольствию. Хозяин почти беспрестанно был занят надзором за фабрикой или расчетами по выделке и торговле. Хозяйка же, хотя бы по своему состоянию, могла избавить себя от хлопот за мелочными потребностями домоводства, но домоводство была единственная страсть, коей была она доступна.

Мужчина — создан для внешности, для кочевья, женщина — творение домоседное; она призвана природой для украшения внутренней жизни, очаг — ее солнце. Вы бы не усомнились в этой истине, видя, как госпожа Саарвайерзен, подобно увесистой планете, кружилась около огня, заимствуя от него свет и румянец. Как философ-путешественник, возметающий стопами властительный прах Рима и внимающий голосу гробов, вещаниям истуканов, изувеченных веками, казалось, вслушивалась она в знакомый, хотя немой язык разбитой, но склеенной посуды, на которой видны были печати всех периодов просвещения. Там чайник без носу, там безухая чашка напоминали ей урок Экклезиаста о суете мира, там несколько поколений разнообразных рюмок живописали в лицах историю Нидерландов. Как романтик нашего времени, одержимый бесом бесконечности, бродит по горам и по долам, вызывает с Манфредом или Фаустом гениев стихий и разгадывает говор листьев, шум водопада,

¹ Известный в Венеции мост Вздохов близ площади св. Марка, соединяющий палаты дожа с темницами. (Примеч. автора.)

рев моря,— она пристально внимала ропоту кастрюль, шипению теста, и тайны варенья и печенья открывались пред ней в тишине и уединении. Наконец не так старательно слагает начальник какого-нибудь отделения бумагу, за которую ожидает креста, не так лепит дипломат из форменных фраз ноту в надежде быть кавалером посольства, не так рачительно выкрадывает модный стихотворец эпитеты в нелепое стихотворение, которое назовет он поэмою, как внимательно готовила она вафли, и, правду сказать, из всех упомянутых дел едва ли ее было не самое трудное и, без сомнения, гораздо полезнее для человечества. Что касается до изобретательности, она не уступала никакому Перкинсу, Дженкинсу и Допкинсу. Ее маринованные угри были удивлением всех хозяек за сорок миль в округности; да, кроме того, она выдумала особый род яблочного пирожного, неизвестного дотоле в поваренных летописях, и назначала передать этот важный секрет своей дочери в день замужества, в приданое.

Итак, когда мать Жанни проводила большую часть времени в созерцании горшков, бисквитных щипцов, раков, роз и бабочек, напечатанных на формах для студней, когда отец ее являлся только домой, подобно карпам в пруде Марли,— по звону колокольчика, молодые люди были вместе, неразлучно. То Виктор, сидя подле пяльцев Жанни, читал ей какие-нибудь стихотворения, то Жанни поглядывала через плечо Виктора, когда он рисовал ей что-нибудь в альбом. В междудействиях, которые можно бы назвать настоящей завязкою драмы, он рассказывал ей о русской зиме с большим жаром, она слушала с большим вниманием, даже порой вскрикивала: «Ах, как бы мне желалось это увидеть!» — «А почему же нет?..» — возражал рассказчик, уставя на нее свои выразительные очи. Жанни обыкновенно со вздохом опускала тогда свои и принималась за работу... Я, право, не знаю, о чем она тогда мечтала.

Виктор был от природы весьма веселого нрава и, оживленный желанием нравиться, становился еще любезнее;

шутки его могли бы заставить самого кота смеяться, но он еще был стоик в сравнении с резвостью Жанни. Воспитанная с младенчества во французском пансионе, она приобрела все милые качества французенок, не потеряв простосердечия своей родины, и уже блистала полной красотой молодости, сохранив всю прелесть младенчества. Виктор после шумной веселости впадал нередко в глубокую задумчивость и грусть, может быть сладчайшую самой радости, необходимую для сердца, чтобы вкусить минувшее блаженство и отдохнуть для будущего; но Жанни была игрива неизменно, чувство любви было еще для нее забавою, а не наслаждением. Виктор бесился на такое равнодушие, и его угрюмость была новым поводом к шуткам. Она, как муха, кружилась, порхала, колола нетерпеливого и скрывалась неуловима. Так прошла целая неделя ненастного времени.

Наконец погода разгулялась, и Жанни предложила ему посмотреть сад, устроенный в настоящем голландском вкусе: дорожки, отбитые по тесьме, лужайки, усыпанные разноцветным, блестящим песком в виде звезд, кругов, многоугольников, точь-в-точь блюдо винегрета, горки наподобие миндального пирога, деревья и кусты, обстриженные стенками, столбами, шарами, так что вы можете подумать, будто здесь природа сделана столяром. Мраморные герои, полубогини и полные боги — произведения фламандского резца, несмотря на тучность свою, собирались, кажется, отдернуть казачка, и лев с важностью стоял над водоемом, ожидая воды, которая лишь капала с морды его, как будто он получил насморк. Нигде и ничего не было видно естественного: там возвышались жестяные цветы на решетке, ограждающей лабиринт величиною в две сажени, там сгибался мостик, по которому не прошли бы рядом две курицы, там сидели деревянные китайцы под зонтиками, скрываясь от летнего солнца в октябре, там охотник с невероятным терпением метил в утку, которая двадцать лет не слетала с озера... Увидя на башенке оранжереи неподвижно стоящего аиста, Виктор спросил у своей путеводительницы:

— Не фарфоровый ли он?

Жанни засмеялась:

— Мы не язычники, господин Виктор,— возразила она,— и хотя у нас, как у египтян, эта птица в большом уважении, но мы еще не воздвигаем ей храмов, ни идолов.

— Жаль, очень жаль; ваш Гензиус, кажется, рожден быть великим жрецом этого долгоногого домашнего божества.

— А как нравится вам сад наш, господин критик?

— Чрезвычайно любопытен; это палата редкостей; жаль только, что я не могу видеть его в полном блеске зелени и цветов.

— В этом вы можете утешиться; невелика жатва осени после ножниц нашего садовника, и сад этот имеет неоцененную выгоду быть летом, как зимой, неизменно скучным. Что касается до цветов, я покажу вам их царство, где цветут они, как ваши северные красавицы, в теплицах.

Жанни растворила двери оранжереи. Башенка, сквозь которую вошли они, занята была птичником: за светлую бронзовую сеткою порхало множество мелких заморских птичек; иные клевали зерна, рассыпанные по полу, другие увивались около гнездышек. Любимые канарейки Жанни слетелись к ней, едва она простерла руку, садились на плечо, ели сахар из уст ее. Виктор любовался этой картиной.

— Это очень мило,— сказал он,— но я во всем вижу, что вы любите своих гостей превращать в пленников.

— Напротив, я из чужих пленников делаю гостей: выпустить этих бедняжек на волю, в нашем климате, значит погубить их безвременно.

— О, конечно, вы так добры, Жанни, так ласковы, что не только мирных канареек, но и смелого сокола заставите забыть свободу.

— Сокола, Виктор? Благодарю вас за него; теперь, слава богу, не мода носить дамам на руке этих хищных птиц, как видно на старинных картинках; я бы страшилась сокола и за себя и за маленьких питомцев моих!

— И страшились бы напрасно, Жанни: ручной сокол преучтивая птица; он бы доволен был конфетами и ласками вашими.

— Чтобы взвиться под облака и улететь?

— О нет! чтобы сидеть под кровлей вашей смиреннее голубка!

— Вы чудесный рассказчик, Виктор! Вы скоро уверите меня, что у сокола и когти для красоты; но оставим летучее племя для этих растущих мотыльков, которые к красоте воздушных детей весны присовокупляют благоухание и постоянство. Это любимое общество батюшки.

— Цветоводство — приятное занятие для преклонного возраста, как воспоминание прежних радостей, и полезный урок нам.

— О да, господин мудрец! Я сама бы любила цветы страстно, если б они не были так изменчивы и кратковременны. Надобно иметь или тысячу сердец, или одно очень хладнокровное, чтобы видеть их увядание и утешаться вновь и вновь.

— Цветы счастливее нас, Жанни: мы изменяемся и вянем, подобно им, но они не страдают, подобно нам!

— Стало быть, и не знают наших удовольствий! Я не завижду цветам. Вы, конечно, знаток в ботанике, Виктор?

— Только любитель, Жанни, только любитель; я не отличу лупинуса от цветного гороха и знаю лилию только по гербовнику. Ваши термины: *bulbata*, *barbata*, *angustifolia*, *grandiflora*¹ — для меня арабская грамота.

— И вы, в святилище цветов, в доме известного цветослова, не краснея, хвалитесь этим?

— По крайней мере сознаюсь в своем невежестве, но не каюсь в нем. Я, как соловей персидских поэтов, обожаю розу, одну белую розу, и в этом отношении могу поспорить с первейшими ботаниками, которые слышат даже, как растет трава, что не ошибусь в выборе прелестнейшей.

¹ Луковичные, усовидные, узколистные, крупноцветные (лат.).

— Это не очень мудрое предпочтение, господин мудрец, и вам, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить уважение ба-тюшки, надо поучиться толковать с ним о листках, и лепестках, и венчиках, и пестиках всех редких цветов без лице-приятия.

— Ваш совет для меня закон, Жанни; я готов охотно не только прилипнуть к цветку, подобно пчеле, но прирасти к земле, как цветок, если вы сами посвятите меня в рыцари теплицы. От кого лучше, как не от самой Флоры, могу я научиться изъяснять свои мысли о цветах, а может быть и свои чувства цветами! Не начать ли с сего дня благоухан-ных уроков, Жанни?

— Чем скорее, тем лучше. Вот этот цветок, например, называется малайская астра.

— То есть звезда,— тихо повторил Виктор, заглядывая в очи своей учительнице,— я знаю две звезды, которых краше не найти в целом небосклоне; к ним и по ним правил бы я всегда бег свой над бездной океана.

— Ах, оставьте, пожалуйста, в покое ваш океан и удо-стойте сойти с неба...

— Ничего нет легче этого, Жанни, когда небо удостои-вает сходить на землю.

— Зато ничего нет труднее, как понимать вашу поэзию! Вот родня вашей любимицы — *rose musquée*¹; вот махровая роза; вот тюб-роза.

— Прелестные цветки! Им недостает только шипов, что-бы поспорить с настоящей розой.

— В самом деле так? Я замечу это в своем травнике, Виктор... Вот китайский огонь.

— Который имеет зажигающее свойство только в ва-ших руках,— не правда ли?

— Вот мандрагора, про которую индийцы рассказыва-ют, будто она кричит, когда ее срывают со стебля.

— И, верно, кричит: «не тронь меня»?

— Я не решалась никогда оскорблять ее чувствитель-

¹ Мускусная роза (фр.).

ности; теперь берегитесь, чтоб не заснуть: вот все племена маков; из них свит венец Морфея, и льется опиум в испарениях!

— Не страшусь нисколько их усыпительного влияния, находясь так близко к противоядию. Я говорю по опыту, Жанни: обыкновенное приветствие ваше: «доброй ночи, Виктор» вместо доброй ночи дает мне злую бессонницу.

— Бедненький, Виктор! Теперь я знаю, отчего он бредит иногда наяву! Но на чем мы остановились? На гарлемском жонкиле, на капском ранункуле, на писаном тюльпане? И то нет! Ваша рассеянность прилипчива, господин ученик; но вот кактус, который цветет однажды в год, и то ночью. Надобно несколько зорь сряду стоять на часах, чтобы иметь наслаждение увидеть пышный белый цвет его с оранжевыми краинами; и вообразите, только два часа красуется он и потом опадает мгновенно.

— Хоть два часа, но он цветет, он манит взоры, он радуется сердце прекрасных. Я бы готов был годами жизни купить подобное счастье!

Виктор пламенно глядел на Жанни, Жанни безмолвно смотрела на Виктора.

— Как здесь жарко! — сказала она, отбрасывая от лица воротник голубых песцов, и задумчиво взялась за дверную ручку. — Повторим первый урок и посмотрим, что заслужит ученик мой: место ли в углу или позволение бегать по двору? Например, скажите мне имя этого цветка? — примолвила она, сорвав тюб-розу.

— Не знаю, — отвечал Виктор, не сводя очей с очей Жанни.

— Но что ж вы знаете, боже мой?! — вскричала она.

— Любить, любить пламенно, — возразил с жаром Виктор, схватив нежную ручку ее.

— А что значит любить? — спросила она с простосердечием.

А что значит любить? — повторяю сам я, обращаясь к читателям... И вопрос этот, право, не так глуп, как он ка-

жется сначала. Я много читал в книгах, еще больше слышал мнений людских об этом предмете, и ни одного согласного. Один говорит, что любить значит желать, другой, что любить — отказываться от природы; тот уверяет, что нет любви без денег, другой, что нет ее для богачей. Лишь Сократ сказал философическую истину, назвав любовь стремлением к возрождению посредством красоты, но это определение страсти — не описание ее действий, не характеристика ее феноменов; и что вы ни говорите, а, кажется, я останусь при своем вопросе.

Не дивитесь же, милостивые государи, что этот простой вопрос ужасно смутил неопытного любовника; он вовсе не был приготовлен разменивать свои чувства на мысли и мысли на выражения. Нить его идей прервалась, бодрость на дальнейшее объяснение его оставила; он произнес несколько неясных звуков, потупил очи на цветок, который Жанни держала еще в руке, и, желая найти точку опоры, сказал:

— Это колокольчик?

Должно полагать, у него крепко звенело в ушах, когда он назвал тюб-розу колокольчиком.

Жанни не могла удержаться от смеха.

— Нет, Виктор, нет, вы отчаянный ученик, — в вашей памяти, как в снегу, не расти цветам.

— Лишь бы мне не были чужды цветочные венки, прекрасная Жанни! Менее ль прелестна райская птичка оттого, что мы не знаем ее родины? Менее ль благовонна роза, если назовут ее другим именем?

— По крайней мере не менее забавно. Заметьте, Виктор, листки этой тюб-розы; колокольчики не распускаются так широко; пестики их гораздо ниже и пушистее; притом образование самого цветка...

Жанни толковала очень подробно. Виктор, казалось, слушал очень прилежно и, чтобы лучше рассмотреть цветок, поднес к самым глазам руку Жанни, на которой лежал он.

Виктор, изволите видеть, был немножко близорук. Между тем длинные локоны ее касались лицу ученика, а волосы, как вам известно, есть самый сильный возбудитель электричества. Оттого прекрасному полу так нравятся гусарские усики, от того же самого и Виктор почувствовал на сердце прикосновение к своему челу кудрей красавицы... Невольно он поднял очи: перед ним дышали внешнею свежестью румяные щечки и благоухающие губки распускались как заря. Это было выше сил его. Он прильнул своими устами к устам искусительным, и вздох изумления исчез в жарком поцелуе!

Видали ль вы когда-нибудь две ясные капли росы рядом на листе винограда? Они долго дрожат, потрясаясь дуновением ветерка, и вдруг, как будто одушеваясь, сливаются воедино и крупной слезой ниспадают, сверкая. Так точно слились устами наши любовники, забывая весь мир в упоенье восторга. Поцелуй — сладостное чувство, милостивые государи! Новейшие физиологи недаром называли его шестым чувством, изящнейшим, нежели все прочие, и природа не без цели одарила одного человека таким нежным орудием оного — устами с чрезвычайно тонкою оболочкою. Всегда приятен вольный поцелуй, но что может сравниться с первым, девственным поцелуем любви? Соберите золото, власть, славу, даже самое обладание — все, все, что люди привыкли называть счастьем, и если вы испытали все это, сознайтесь, что оно не в состоянии дать вам радости, чистейшей сих невозвратимых мгновений.

Эти мгновения миновали для Виктора. Жанни с сердитым видом вырвалась из его объятий.

— Я никогда не ожидала от вас этого, господин Виктор, — произнесла она голосом обиженной гордости и, как серна, прыгнула за дверь теплицы.

Изумленный любовник остался на месте с распростертыми руками... Если б граната лопнула в его кармане, он бы менее был испуган, чем такую нежданною строгостью.

ГЛАВА V

*Les femmes ont l'humeur légère,
La nôtre doit s'y conformer;
Si c'est un bonheur de leur plaire,
C'est un malheur de les aimer.*

P a r n y¹

Виктор протирает глаза, не веря сам себе. «За что ей рассердиться? — думал он. — Кажется, она была неравнодушна ко мне, благосклонно слушала мои вздоры и, если меня не обмануло зрение или самолюбие, очень понятно отвечала на пылкие взгляды. Конечно, поцелуй был неожиданный, но не похищенный силою, и, сколько могу припомнить, ее губки не убегали от моих. Теперь или ранее обманулся я?»

Волнуем сомнениями и страхом, что заслужил гнев своей любезной, Виктор как подсудимый явился в столовую; но он напрасно умоляющими взорами ловил взоры Жанни: она, как ртуть, убегала от встречи. Злая девушка с гордой холодностью и с видом обиженного достоинства уклонялась от разговоров, и когда виновный бемольным тоном обращал к ней вопрос, то односложные *да* или *нет*, словно иголки, входили ему в сердце.

В первый раз заметил он, что Гензиус несносен со своими расспросами: как ведется в России грассбух? разделяют или соединяют в одну тетрадь *credet* и *debet*?² венецианскую или амстердамскую методу предпочитают для счетов и красными ли цифрами вписывают транспорт? — у человека, который не знал иного транспорта, кроме срывающего четыре куша с банкомета. Заметил, что шутки хозяйна длиннее двух аршин с четвертью и что страх утомительны рассуждения хозяйки о разнице, существующей между предохранением, охранением и сохранением пикулей, об

¹ Женщины легкомысленны, и мы должны им в том потакать; если нравиться им — счастье, то любить их — несчастье. *Парни (фр.)*.

² Кредит и дебет (*лат.*).

упадке просвещения, что ясно доказывается введением сапогов вместо башмаков с тонкими подошвами, и, наконец, о размножении моли, верного предвестника близкого представления света.

Между тем Жанни оставалась неизменно равнодушной, и тем сильнее кипел Виктор. Раздраженный таким упорством, он, наконец, убежал в свою комнату, с твердым намерением не выходить из нее ни к чаю, ни к ужину.

— Это ни на что не похоже,— говорил он сам с собою, отмеривая саженные шаги по паркету,— так молода и так упряма! Что я говорю — упряма? Так причудлива, так зла! Хорошо, что она выказала себя сначала, а то, чего доброго, пожалуй, влюбился бы в нее по уши, которые не стали бы оттого короче!

Тут он вздохнул, вспомня, какое маленькое у нее ушко; от ушка далее и далее; наконец он сел, как будто желая рассмотреть образ, носящийся перед его глазами.

— Да, да, это правда — она хороша, слова нет, что хороша,— приговаривал он, будто нехотя,— сложена — чудо! Умна, как день, но зато уж зла, как медяница, как змея с погремушками... Я поздравляю себя, что разлюбил ее, что равнодушен; нет, мало равнодушия, что ненавижу ее. Слуга покорный, мамзель Жанни,— вы можете пленять теперь на свободе эту двуногую треску — Гензиуса, я, право, сам умею платить леденцами за леденцы.

Урочный час пробил, и откормленный слуга явился в дверях.

— Самовар подан!— возгласил он однозвучно.

Виктор глядел на него, расширив глаза, как будто слуга произнес что-то на санскритском наречии.

— Пожалуйста кушать чаю!— сказал вестник.

— Кушать чаю?— повторил Виктор умильным голосом.— Сейчас иду, друг мой! Иду, но для того, чтобы показать спесивице, что значит оскорбленная любовь!— присовокупил он, оправдываясь перед собою.

С небрежным видом вошел Виктор в гостиную и, вмес-

то того чтоб сесть по-прежнему подле Жанни, рассыпаясь жемчугом в иносказательных приветствиях, подсел к старику, хозяину, и пустился шутить с ним наперегонки. Но Жанни, которая прежде всех, бывало, показывала зубки, когда он выказывал остроумие или рассказывал что-нибудь смешное, теперь не удостоивала его шуток даже улыбкою, заводила незначащий разговор с матерью и, будто назло ему, все делала наоборот. Обыкновенно, в первой степени любовного масонства, ученики стараются узнать и угадать все вкусы, все прихоти, все причуды милой особы и таким нежным вниманием, такими маленькими услугами пробивать тропинку до ее сердца. Подобный обмен предупредительности уже существовал между нашими любовниками, и они оба могли перечесть по пальцам, что каждый из них любит или не любит особенно; ни одна безделица, которую только глаз любви может заметить, только сердце любви оценить, не предлагалась без взаимной придачи улыбки или слова. Напротив, теперь Жанни будто вовсе забыла привычки Виктора. Чай, вопреки его вкусу, был сладок, как варенье; ему предлагали сливок, хотя он никогда не употреблял их, и, что всего обиднее, не дослушав его речей, Жанни обращалась к другим с пустыми вопросами. Виктор выходил из себя, стараясь казаться хладнокровным. Жанни казалась ему чудовищем, но чудовищем, самым милым в свете; он готов был тогда разбраниваться с нею навек и расцеловать в пух. Беда, когда западает в ретивое страсть, которой мы не в силах ни бежать, ни победить!

Я, право, не знаю, что важнее для любовников: первая ли благосклонность или первая ссора? Беда вдвое, когда они приходят вдруг, подобно радуге в бурном дожде.

Виктор возвратился от ужина разогорчен и отчаян, видя свою покорность отвергнутой с равнодушием и свою гордость униженной перед невниманьем.

— О, женщины, женщины! — восклицал он. — Существо бессердечное, легкомысленное, коварное, неблагодарное!

Он не первый и не последний вымещал на целой половине рода человеческого досаду на одну девушку. В любовных и в политических упреках обе стороны бывают обыкновенно чрезвычайно справедливы: старое и новое, небывалое и бывшее — все смешано вместе, все обрывается на голову обвиняемого; каждый умильный взгляд, каждый поклон ставится ему в благодеяние, то есть в обвинение за неблагодарность.

Злая филиппика Викторова кончилась тем, что он решил писать к *жестокой*.

Начинать переписку побранкой — довольно щекотливая вещь; она казалась, однако ж, самую естественною и всего боле справедливою для неопытного моряка. Забавно было видеть, как он грыз перо и разрывал листы за листами, то находя выражения свои чересчур жесткими, то некстати нежными. Не раз вскакивал он и отворял окно, будто надеясь прилива красноречия от полнолуния, или с жадностью затягивался трубкою, высасывая из нее вдохновение с дымом. Пламенные нелепости текли струей на бумагу и, подобно ракете, рассыпались звездами слов. Чего там не было! И обольстительные упреки, и нежные угрозы, и клятвы, и обеты — словом, все выходки сердечного безумия, все грезы любовной горячки, все, кроме того, что хотел сказать он, и того менее, что должен был говорить. Изъяснение это было вкратце, — и на третьем листе он дописывал начало, как вдруг ему показалось, будто буквы растут, растут перед пером его, что они, свившись хвостами и усами, начиная извиваться и прыгать, как змеи. Изумленный таким явлением, Виктор снял со свечи, протер отяжелевшие глаза, — не тут-то было! Дети азбуки не унимались: строчки бежали вкось и вдоль и словно дрались между собою, запятые и многоточия (вещь необходимая в любовном письме, как дробь в охотничьем заряде) летели со стороны на сторону, целые фразы кружились, смешивались, перескакивали бог весть куда, до того, что у Виктора зарябило в глазах. Неодолимый зевон, как очарованием, разверз его

челюсти, и голова тихо, тихо скатилась на неоконченное письмо.

В младенчестве слышал я сказку о добром молодце, который, украв у соседа петуха, набрел, пробираясь через кладбище, на толпу мертвецов. Забавники того света, покинув могилы, чтоб погреть свои кости на месяце, играли, перекидывая своими головами как мячом; гробовые одежды лежали рассеяны. Испуганный вор, зная, что оборотни так же боятся пения петуха, как мы стихов Котова, так давил несчастного вестника зари, что он закричал кокареку благим матом. Смутились пляски покойников; каждый, надевая голову, какую послал ему случай, и одежду, какая попала под руку, швырком и кувырком кидался в могилу. Наутро любопытные нашли весь гробовой мир вверх дном: известный красавец лежал с беззубою головой старухи, у старика профессора философии накинута была набекрень детская головка, отставной солдат с деревянною ногою лежал в душегрейке, а кирасирские ботфорты красовались на маленькой ножке танцовщицы.

Проснувшись на заре, точно в таком же беспорядке нашел письмо свое Виктор. Напрасно перечитывал он его сверху вниз и снизу вверх, добывая толку; напрасно искал он, что ему хотелось вчера выразить,— это было настоящее вавилонское смешение языков.

— Или я сегодня умнее вчерашнего,— сказал он наконец, раздирая в куски послание,— или вчера был так мудрен, что сегодня себя не понимаю. Что бы подумала обо мне Жанни, если бы я грянул в нее такую нескладницу?

Совершив *autodafé*¹ над лоскутками, Виктор вышел в сад подышать свежим воздухом и собраться с мыслями на новое объяснение. Окрестный вид был истинно фламандской школы: небо, подернутое байкою туманов, обстриженные деревья осыпаны пудрой инея; вдали фабрика, у которой длинные трубы торчали как ослиные уши, и даже аист

¹ Сожжение (фр.).

на башенке оранжереи — все напоминало картины Вувермана. Сам не зная как, очутился он у дверей теплицы; сердце вечно влечет нас туда, где вкусило оно наслаждение, как в родину своего счастья. Из нее выходил садовник с лейкою в руке и с трубкою в зубах.

— Там никого нет?— спросил Виктор, желая сказать что-нибудь голландцу.

— О нееп, мун негг¹,— отвечал тот, подвигая на сторону колпак свой,— как никого нет? Там премножество птиц и цветов.

— Утиная шутливость, друг мой!— возразил Виктор, хлопнув за собой двери.

— Soo, sool²— произнес голландец, пыхнув очень значительно дымом и качая головою; дальнейших объяснений думы его надобно было бы ожидать, как поздней капусты. Он удалился, улыбаясь лукаво.

Печально поглядел Виктор на милующихся канареек, быстро пробежал стопами и взорами цветники и ряды редких плодоносных и душистых деревьев; он заметил, как склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие,— по-моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии философия по убеждению. Каким благородным доверием, какую чистую доброту бываем мы тогда переполнены: в каждом человеке находим тогда друга, в милом цветке, в тихом кустарнике — родного; мы считаем людей и верим себя самих лучшими, и точно были бы таковыми, если б это умиление, творящее около нас новый мир и украшающее старый, было прочнее, постояннее. Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и, как победителя, возвышает над природою; а любовь, побеждая его частную

¹ О нет, сударь (гол.).

² Так, так! (гол.)

свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемет сердцем биецию жизни во всем творении, гармонии блага — во всем творимом. Пред умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, разбивается свиток судьбы миров и народов. Только это двойное созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством, то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих. В это время он поглощает минувшие, настоящие и будущие наслаждения, сливающиеся в тихом восторге!

Полон подобными чувствами, если не подобными мыслями, стоял мечтатель Виктор перед кустом тюб-роз, свидетелем его счастья и горя. Душа его плавала, как индийская пери, в испарениях цветов, забыв досаду и надежду, довольная собственной любовью, одною любовью, — чувство, непонятное многим, но тем не меньше сладкое для немногих. Вдруг, вовсе неожиданно, он был исторгнут из своей задумчивости свежим, звонким поцелуем, и громкий смех, за ним последовавший, заставил его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот, в свою очередь, заглушен был звуком поцелуев Викторовых, которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, конечно, она.

— Полно, полноте, Виктор! — кричала красавица, заслоняя уста ручками, которые отнимала опять, чтобы скрыть от лобзаний. — Я, право, опять рассержусь на вас; я возвратила вам только ваш злой поцелуй: я не хотела принимать подарков от таких дерзких людей.

Виктор остановился.

— Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на расчеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я доволен.

— Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Легко сказать — счетом; а кто бы успел считать их? — возразила Жанни, и между тем щеки ее пылали прелестным румян-

цем, глаза яснили невинною веселостью. Вся она была так простосердечно игрива,— Виктор растаял.

О прежней ссоре не было и помину. Он тихо обвинил руку около стройного ее стана и неприметно привлек к себе очарованную очаровательницу; но она будто убегала от милых уст, уста ее преследующих, так, что Виктор срывал поцелуи, как розы за розою.

— Мы перечесть снова,— произнес он, и между всяким словом было *тире* из звуков, которых по сию пору никто не вздумал изобразить каким-нибудь иероглифом.

В проверку счета вкрадывались ошибки, и поверка начиналась снова и снова. Я уверен, что это была первая арифметическая задача, доставившая столько удовольствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже они дружески говорили *ты* друг другу. Никто из них не помнил, когда и кем было произнесено это слово.

— Я хотела помучить тебя, Виктор,— говорила Жанни, расправляя розовыми перстками волосы на голове его,— но, признаться, мне дорого стоило притворство, и я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить цветы мои, я долго любовалась тобою,— примолвила она, скрывая горящее лицо на груди счастливец,— и, наконец, не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, я так люблю тебя, причудливый, злой Виктор!

— За что я обожаю тебя, коварная девушка!

— Не сердись вперед, Виктор,— ты так страшен в гневе; мне становится холодно в сердце, когда я о том вспомню.

— Не играй вперед любовью, милая Жанни! Кто так хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недалеко до настоящего бесстрастия,— по крайней мере мысль, что ты так же легко можешь лицемерствовать в нежности, как в холодности, меня убивает!

— О нет, друг мой,— отвечала она простодушно,— я уже привыкла быть равнодушною, а люблю первые.

— И впоследствии, Жанни?

— Однажды и навсегда, Виктор!

— Я твой до гроба! Любить тебя, Жанни, буду я и в самой вечности!

В этот раз Жанни уже не думала спрашивать, что значит любить. И Виктор не пошел бы в карман за словом, если б она о том спросила.

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой науке сердце человеческое в самое короткое время! Один разве животнo-магнетический сон, который учит по-латыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить с платонической методою. Вчерашние новички становятся вдруг такими стратегиками в любовной войне, что, пожалуй, научат учителей.

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уверениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине с собою, каплей по капле вкусить свое блаженство.

ГЛАВА VI

*«Я, Душенька, люблю Амура!»
Потом заплакала как дура;
Потом, не говоря двух слов,
Заплакал с нею рыболов,
И с ним взрыдала вся натура.
Богданович*

Каждый день с рассветом являлся Виктор в оранже-рею, да и прелестная голландочка не опаздывала приходить туда кормить своих канареек, лелеять свои цветы заморские. Само собой разумеется, что не забывала и милого моряка, который стал ей теперь дороже всех птичек и всех тюльпанов вместе. О чем водились у них речи, того не дошло до моего сведения. Крылатому племени всегда не до чужих песен, цветы молчаливы с природы, а от флегмы садовника можно было услышать только *soo, soo*, сопровождаемые весьма значительными и вовсе непонятными пuffsами табачного дыма. Полагать должно, они не скучали, и

хотя словарь счастливых очень ограничен,— но они не могли наговориться об одном и том же и всякий раз имели что-нибудь прибавить ко вчерашнему.

Живучи в таком элизиуме, наш лейтенант вовсе позабыл о море и флоте, о своих и неприятелях, и сколь ни горький патриот был он, но редко впадала ему на ум горькая мысль, что французы идут в сердце отечества. «Нет, Русь не падет!— восклицал он, пылая.— Наполеон поскользнется в крови нашей!»— и успокаивался, и утешал себя верою, что все это скоро кончится, и оправдывал себя вопросом: что могу я сделать? Любовь обезмолвила, наконец, все прочие чувства; завтра для него не существовало; он сам не жил в самом себе,— он будто променялся душою с милюю.

Однако ж этот промен был невыгоден для Жанни, и она узнала сладость грусти, рассеянность завладела и ею. Домашний порядок, доселе верный как часы, совсем потерял черед под ее надзором. Однажды в пальцах вместо какого-то узора она вышила целую строчку литер W по зубчикам косынки. В расходной тетради, вместо итога, явилась чья-то мужская голова — Юлия Цезаря, по ее сказкам матери. В часы, назначенные поварне, ей хотелось танцевать, в часы уроков на арфе — молиться. То забывала она ключи в ящике, то вместо сладкого миндаля насыпала для пирожного горького, то оставляла стул посреди комнаты — вещь, которая для матери ее была страшнее планеты, грозящей стоптать землю. Наконец уж и сам отец заметил, что дочь не в своем уме, когда она налила ему кофе без сахару и в задумчивости сорвала какой-то чудесный тюльпан, что искони считалось смертным грехом в доме его.

— Два аршина с четвертью!— вскричал он, отворив большие глаза.— Это что-нибудь да значит!

Между тем, однако ж, как Амур готовил суматоху в семье Саарвайерзена, судьба сбиралась изломать его стрелы.

Уже миновало две недели пребывания Виктора, и он, притаясь, не думал напоминать об отправлении; а старик,

чрезвычайно довольный его обществом, казалось, совсем забыл, что Виктор не домашний. Даже добрая хозяйка привыкла к нему, по собственному ее признанию, будто к старому ореховому комоду, который отдан был за нею в приданое. Притом, поздняя осень делала затруднительным, если не вовсе невозможным, плавание по бурному побережью Зюйдерзее, а дурная погода избавляла от гостей, которые бы могли подозревать или угадать что-нибудь в странствующем приказчике, на которого, правду сказать, он несколько не походил с головы до ног и с речей до поступков. Словом, все обнадеживало нашего моряка, что он долго просидит на мели, а там, а там... доживем — увидим, случится — так подумаем! И между тем часы летели, и сердце отживало годы счастья.

Утром первого ноября, светел как майский мотылек, порхнул Виктор в теплицу и нашел там Жанни в горьких слезах. Долго не отвечала она нежным вопросам его, и отзывом на них были только новые слезы, новые стенания.

— Минули мои радости, — наконец произнесла она, — Виктор меня покидает!

— Какие черные мысли, милая Жанни, — скорее замерзнет пламень, чем я изменю тебе!

— Ах! зачем ты не изменишь мне? Тогда по крайней мере я бы в гневе и в презрении нашла отраду разлуке! Менее ли я несчастна теперь, теряя тебя невинного!

— Не огорчайся, милая, будущим горем, оно далеко, еще все может перемениться к лучшему!

— Не верю я, не хочу я верить ничему лучшему, когда все, что казалось таким, меня обмануло. Зачем я полюбила тебя, Виктор!..

— Я не понимаю тебя, милая!

— Я бы рада была, чтобы ты не слышал и не понял никогда вести разлуки, если б это могло удержать тебя со мною.

— Возможно ли: мне готовят отправление?

— Оно уже решено. Батюшка сегодня поутру нанял

рыбаков на большом боте, чтобы тайно провезти тебя на эскадру; завтра ночью ты отправляешься!

Безмолвен и бледен стоял Виктор перед плачущею любовью; наконец вспомнил, что он, как мужчина, должен утешать ее; но Жанни, которую горесть сделала причудливою, с сердцем отвергла его изношенное красноречие.

— Не огорчай меня, Виктор, своими утешениями, я не хочу и не могу быть покойна; с тобой вместе ладья показалась бы мне люлькою, но, воображая тебя на ней одного, я всякий час буду страшиться потопления... И потом, ты уедешь в Англию, в свою милую Россию, забудешь меня, изменишь мне, почему я знаю, может быть станешь смеяться над простой Жанни, когда Жанни будет плакать, горько плакать!..

Рыдания прервали слова ее.

Виктор не мог удержаться, чтоб не выронить пары две заветных слезинок, однако ж, лаская и уговаривая, уговаривая и лаская, ему удалось понемногу успокоить Жанни.

— Я откроюсь твоему родителю,— говорил он,— и буду просить руки твоей; я не вижу причин отказа и потом невозможности возвратиться к тебе: война ведь не вечна, как любовь наша. Притом еще два дня могут принести много перемен!..— Жанни поглядела исподлобья, как будто в нерешимости, утешиться ей или нет; наконец улыбка проглянула на милом лице ее, словно луч солнца сквозь вешний дождь: юность так охотно вверяется надежде и сама спешит навстречу обмана.

Уже все собрались к обеду.

Хозяин, заложив руки в карманы, преважно рассказывал Виктору о новом изобретении цилиндрических ножниц для стригальной машины. Гензиус, глядя на картину, изображающую столовые припасы, наигрывал носом песню нетерпения. Жанни, грустно подняв брови и склоня голову на плечо, украдкой поглядывала на лейтенанта, и уже хо-

зяйка вошла в комнату с рдеющими от огня ланитами и с вестью об обеде в устах, как вдруг Саарвайерзен, взглянув на термометр за окошко, вскричал:

— Так и есть, вот болтун Монтань к нам тащится.

— Капитан Монтань!— вскричала испуганным голосом хозяйка.

— Это настоящее божеское посещение,— сказал Саарвайерзен.

— Разоренье, да и только,— сказала госпожа Саарвайерзен.

— Он для меня несноснее барабана,— сказал первый.

— Он для меня страшнее моли,— сказала вторая.

— Он переломает мои тюльпаны и оборвет цветки с лимонных деревьев для настойки,— сказал хозяин.

— Передвигает с места всех мандаринов и перервет мои ковры своими варварскими каблучищами,— сказала хозяйка, брянча, однако, связкою ключей.

Делать было нечего; живучи за городом, теряют право отказывать скучным людям, и несовместно с добротой, не только с учтивостью, отказать приезжему из-за пятнадцати миль. Приятель-неприятель уже всходил на лестницу, и гостеприимное *прошу пожаловать* встретило его у порога, между тем как он напевал еще песню:

Les Français ont pour la danse
Un irrésistible attrait;
Et de tout mettre en cadence
Ils ont, dit-on, le secret;
Je le crois,
Quand je vois,
Ces grands conquérants du monde
Faire danser à la ronde
Et les peuples et les rois!¹

¹ Французов непреодолимо тянет к танцам; говорят, они владеют секретом все обращать в такт; я верю этому, когда вижу, как эти великие завоеватели мира заставляют и народы и королей кружиться в хороводе! (фр.)

Двери отворились, и капитан garde-côte¹ Монтань-Люсак влетел на цыпочках в комнату. Он был человек лет тридцати пяти от роду и вершков тридцати пяти от полу, с кроликовыми глазами, с совиным носом и с настоящею французскою самоуверенностью. На нем был синий мундир с одним эполетом, и он подпирался шпажкой, которая, вместе с тонкими козьими ножками, делала его весьма похожим на треногую астролябию.

— Ma foi²,— сказал он, раскланиваясь с видом благоклонности,— недаром говорят, что в рай претрудная дорога. Ваш фламгауз, mon bon monsieur Sarvesan³,— настоящий рай Магометов, потому что одна mademoiselle⁴ Жанни стоит всех гурий вместе,— и с этим словом он так махнул мокрою шляпою, что брызги полетели кругом.

— Вы так любезны, капитан,— отвечала Жанни с лукавой улыбкой, вытирая платком платье,— что нет средств *сухо* принять ваши приветствия!

— Вы божественно снисходительны, мадемуазель Жанни,— возразил, охорашиваясь, француз, вовсе не замечая насмешки,— и я принес жертву вашей божественности — премиленький рисунок воротничка,— в нем вы покажетесь, как персик между листьями. А вам, madame Surversant,— сказал он, обращаясь к хозяйке,— выписал я рецепт, как сохранять в розовом варенье природный его цвет.

— Лучше бы научили вы средству сохранять ковры от мокроты,— отвечала она, с ужасом глядя на струю дождя, текущую со шляпы героя.

— Капитан — неизменный угодник дамский,— молвил хозяин, трепля его по плечу,— у него в кармане всегда найдется про них какая-нибудь игрушка и в голове запасный комплимент!

— Par la sainte barbe (клянусь пороховою каморою),—

¹ Береговая стража (фр.).

² Честное слово (фр.).

³ Добрейший господин Сарвезан (фр.).

⁴ Мадемуазель (фр.).

возразил капитан, вытягивая свой туго накрахмаленный воротник,— мое сердце готово всегда упасть к ногам прекрасных, а шпага — встретить неприятеля!

— Славно сказано, капитан,— только, видно, у вас сердце некрепко привязано, когда вы можете выкидывать его, как червонный туз; ну, а, кстати, о шпаге: много ли ей было работы пронзать и щупать тюки с запретными товарами?

— Я задавлен делами, *vgai dieu*¹, задавлен!— отвечал французик, зачесывая на обнаженный лоб скудные волосы.— Ваши соотечественники, вместо благодарности нашему доброму императору за то, что он не столкнул Голландию в море, беспрестанно заводят по всем шинкам заговоры, а забияки русские и англичане того и жди, что нагрянут на берег! Знаете ли вы, что они затеяли тайную высадку, чтоб захватить крепость и порт,— безделица! К счастью, сударь, я своею проницательностью уничтожил их замыслы и спас город: злодеи были захвачены,— и в чем, как вы думаете? В ромовых бочонках, сударь, в ромовых бочонках!

— Вам должно воздвигнуть статую во весь рост на бочонке вместо подножия,— сказал, улыбаясь, хозяин.

— Этого мало, *gepp Sans-fer, Sans-ver-Sarrasin*, извините, пожалуйста, я не в ладу с голландскими именами,— вообразите себе, что эти вандалы, англичане, эти враги человечества, то есть французов, собрались нас зажарить заживо, вместе с домами и кораблями, открыли в Лондоне подписку, наняли контрабандистов, чтоб ввести потихоньку зажигательные вещества в курительном табаке, в свечах, в колбасах, в копченых рыбах, даже в помадных банках, сударыня, даже в помадных банках; все каблуки французских генералов начинены были порохом: злодеи хотели поднять на воздух каждого из нас поодиночке...

— И вы опять открыли их?

— *Mais cela va sans dire* (это и без слов разумеется),

¹ Истинный бог (фр.).

под крыльями французского орла и до тех пор, покуда я охранитель берегов здешних, вы можете спать как за каменной стеною.

— Не угодно ли же гению-хранителю отведать нашего обеда?— сказал хозяин, наскучив его болтаньем,— суп и железо надо обрабатывать, покуда они горячи!

Таможенный храбрец жеманно подал свой локоть хозяйке, Виктор — дочери, а сухощавый Гензиус и шаровидный хозяин, как постный сочельник и сытное рождество, замкнули шествие.

Я думаю, известно всем и каждому, что бог отдал французам майорат любезности с дамами, по крайней мере Монтань-Люссак нисколько не сомневался, что он урожденный остроумец и непобедимый человек в искусстве нравиться. Правда, что переслащенные комплименты его подернулись уже мохом со времен Франциска I, но зато он отпускал их Жанни самым новым, хотя весьма смешным образом. Обо всем другом рубил он плеча, не краснея, и между тем не забывал ни стакана, ни тарелки. Изгоняемая из желудка и головы его пустота разрешалась безмерным хвастовством.

— А каков наш маленький капрал? *Soit dit sans vous déplaire* (не во гнев вам будь сказано),— сказал он, качаясь на стуле.— С каждой почтою присылает он к нам ключи какой-нибудь столицы; нас ожидают уже в Петербурге, и тамошние дамы заказали тридцать тысяч пар башмаков для встречного бала! Что это за прелестная земля Московия, когда б вы знали! Рай, а не край.

— Вы разве были там?— спросил Виктор.

— Я не был, *mais c'est égal*:¹ мой брат собирался туда ехать. Представьте себе, что там падает осенью град в гусиное яйцо, из которого пекут превкусные хлебы; соболи водятся там в домах, как у нас мыши, а всего забавнее, что для верховой езды в горах употребляют лошадок, называемых коньяк, которые не больше собаки.

¹ Но это все равно (*фр.*).

— Я думаю, однако ж, что храбрые ваши одноземцы немного найдут прелести и поживы в краю, нарочно опустошенном,— сказал Белозор.

— Bagatelle (сухая безделица),— возразил капитан.— Что значит русские морозишки для испытанных гренадеров, которые кушали мороженое, приготовленное во льдах Альпов, и на штыках жарили крокодилово мясо на солнце Египта. Allons chantez-moi ça¹, я сам стоял на биваках в пирамиде Вестриса.

— Может быть, Сезостриса, хотите вы сказать,— заметила Жанни.

— Vous y êtes, mademoiselle (вы угадали), но это все равно, дело в том, что Московия не чета Египту; пройти ее вдоль и поперек нам так же легко, как сложить песню.

— Трудно только выйти,— сказал с насмешкою Виктор.

— А, а! господин любит пошучивать, но от этого нашим не хуже: за ними ведут огромные стада мериносов.

— Уж не хочет ли Наполеон заводить там суконные фабрики?— спросил лукаво хозяин.

— Покуда нам довольно и голландских,— отвечал капитан.— Нет, сударь, баранов едят, из кож шьют шубы, костями мостят дорогу для артиллерии и даже обсаживают ее в два ряда финиковыми косточками: надо у этих варваров образовать даже климат, и благодаря стараниям Фуше теперь он немного уступает итальянскому. Да, сударь, что Наполеону вздумалось, то свято. При торжественном вступлении его в Москву...

— В Москву?!— вскричал Виктор, едва не вскочив со стула.— Эта шутка переходит уже границы терпения!

— Шутка? Не вы ли, полно, шутите, господин странствующий рыцарь Меркуриева жезла? Видно, вы жили под землей, если не слышали этой новости; даже в Пекине все немые толкуют об этом!

Надобно сказать, что флот давно не получал известий

¹ Ну, рассказывайте (фр.).

с театра войны, а ван Саарвайерзен не хотел печалить русского вестью о взятии его отечественной столицы.

— Москва точно взята,— сказал он ему по-немецки,— но ваши стоят крепко; будь мужественен, Виктор, умерь себя.

Но эта весть как громом поразила юношу, и, наконец, худо скрытая досада овладела им.

Болтун продолжал по-прежнему:

— Да, сударь, перед Москвою мы разбили пятисоттысячную армию, которою командовал Суворов или Кантакузен, ou quelque chose comme cela¹; тут дрались даже старики с бородами по колено, которые служат им вместо лат или наших хвостов на кирасирских касках; картечь или пуля ударит, да и запутается в волосах!.. При этом деле были два полка самоедов на лыжах,— mais on enfila ça comme des grenouilles²,— в полдень все было кончено, и бояре в длинных своих кафтанах, любя французов от души, на руках внесли победителя в город. По русскому обычаю, герою поднесли в пироге запеченного китенка, по счастью накануне пойманного в Белом море.

— Оно полторы тысячи верст от Москвы,— с презрением сказал Виктор.

— Точно так, точно так и было до Петра Великого; но он, для удобства столицы, велел подвинуть его поближе. Ручаюсь вам, сударь, что Петр был моряк, каких мало, и если б подольше поцарствовал, то весь бы свет обратил в океан и посадил на корабли. Но я удаляюсь от рассказа. К вечеру дан был бал, на котором музыку составлял звон всех московских колоколов; говорят, что эффект был восхитительный! Для редкости, два эскадрона пленных казаков отличились в народном танце, который у них известен под именем *пляска*. Все лица днем и все улицы ночью были иллюминированы. От избытка приверженности к вожделен-

¹ Или что-то вроде этого (фр.).

² Но их нанизывают, как лягушек (фр.).

ным гостям жители зажгли дюжину церквей и несколько кварталов.

— Чтобы все французы погибли там!— вскричал Виктор.

В этот миг слуга принес английские газеты.

— Москва освобождена... Французы бегут!— вскричал Саарвайерзен, взглянув на первый лист, и передал его Виктору. Весть об изгнании была там напечатана большими буквами. Восхищенный Виктор сначала обратил благодарные очи к небу, но потом желание укротить хвастуна вырвалось у него насмешками.

— Итак, господин капитан, ваши египетские герои бегут не оглядываясь!

— Sur ma foi¹,— вскричал тот,— это газетный вздор, это зажигательные известия английские; я никогда не видел, чтобы французы от кого-нибудь бегали...

— Может быть, оттого, что вы бывали тогда *впереди всех*,— сказал Виктор насмешливо.

— Мне кажется, господин рыцарь аршина, вы на мой счет изволите забавляться? Duoze mille bombes!²

— На ваш счет, господин герой таможни? Нимало: я бы ничего не поверил вам в долг.

— Знаете ли, кому вы говорите, сударь? Ведаете ли вы, что я происхожу по прямой линии от славного Монтаня, который так же умел владеть пером, как шпагою?

— В таком случае вы оправдали на себе басню, в которой гора породила мышь!³

— Я мышь? Я, сударь, мышь? Как старинный дворянин, я бы доказал вам дружбу, если б вы стояли острия моего клинка, но знайте, что он действует и плашмя.

— Дерзкий хвастун! Если б мы были не в доме почтенного человека, вы бы получили должную награду; впрочем, вы можете счесть, что взяли ее.

¹ Клянусь (фр.).

² Двенадцать тысяч бомб (фр.)

³ Игра слов — montagne и Montaigne. (Примеч. автора.)

— Так знайте и вы, что если б не этот стол, я бы пронзил вас насквозь,— вскричал ретивый француз,— и с этой минуты вы можете считать себя мертвым!

Эта выходка рассмешила всех как нельзя более. Нахотавшись досыта, сам Виктор негодовал на себя за вспыльчивость. Истинно смешно было сердиться на этого шута. Согласие восстановилось за бутылкой шампанского, которую гости распили за здоровье победителей, каждый разумея в тосте, кого ему хотелось.

После кофе капитан с значительным видом приблизился к хозяину, прокашлялся, как проповедник, который собирается говорить поучения, выставил вперед козлиную ножку и умильным голосом попросил хозяина удостоить его минутным, но особенным разговором о важном, очень важном деле. Слыша это, все лишние поспешили удалиться.

ГЛАВА VII

*Утешись! Индия осталась за нами.
Н. Хмельницкий*

О чем и как шла таинственная беседа Монтаня с хозяином, история умалчивает. Только через полчаса двери кабинета растворились, шумя, и капитан, надувшись как индейский петух, с гневным видом вышел оттуда, крутя свой хохол; между тем Саарвайерзен провожал его повторениями:

— Нос, сударь, нос! Говорю я вам — нос в два аршина с четвертью!..

Не взглянув ни на хозяйку, которая сидела с Гензиусом за пикетом, ни на Жанни, которая речитативом повторяла с Виктором песню собственного сочинения, сердитый герой перешагал через комнату, ворча, и, не поклонившись, хлопнул дверью. Слышно было, как, сходя с лестницы, он приговаривал:

— Да, да, господин Сар-сар-сер-ве-зан, вы мне дорого заплатите за эту обиду, да, да, господин Сар-сур-сир,— между тем как наконецник волочащейся по ступенькам шпаги вторил ему. Скоро раздался бряк подков двух лошадей у крыльца, и через минуту герой был далек от дому и мыслей его обитателей.

В это время Виктор и Жанни, кончив свое совещание, решительно встали оба и вошли в кабинет Саарвайерзена. Старик ходил по комнате, против своего обыкновения весьма скоро; на лбу его еще видны были морщины досады, но он разгладил их, взглянув на дочь свою. Ласково притянул он ее к себе и поцеловал в голову.

— Добрая девушка!— сказал он,— не правда ли, ты еще не хочешь покинуть отца своего?

— Для чего вы меня об этом спрашиваете, батюшка?— робко возразила Жанни, пойманная, так сказать, врасплох.

— Так, милая, так; мне пришло на мысль, что весною видел я молодых ласточек, которые чуть оперились и хотели покинуть кров родимый; бедняжки попадали из гнезда и достались на потеху школьникам. Девушки похожи на ласточек, Жанни...

— Не знаю, батюшка, только я не желала бы век разлучиться с вами, но не желала бы разлучиться и с... Батюшка, обещайте мне исполнить то, об чем я вас попрошу.

— Изволь, изволь, моя милая; конечно, тебе понравилась какая-нибудь игрушка: перстенок, или шаль, или заморская птичка? Хотя райскую куплю, душенька; плуты купцы ухитрились и в раю найти товар для вас. Говори; я ничего для тебя не пожалею.

— О нет, батюшка. Я так задарена вами, что мне ничего не остается желать в этом отношении, но... но вы не рассердитесь, батюшка?

— Рассержусь, если ты долее станешь скрываться. Нужна ли тебе компаньонка позабавнее, я выпишу такую, что в три дня уморит тебя со смеху; нужна ли мадам по-

учение, я найду такую, перед которой и мадам Сталь — не больше как словесная пирожница; хочется ли танцмейстера, вмиг доставлю такого искусника, что протанцует тебе гавот в бутылке.

— Вы все шутите, батюшка... а я...

— А ты небось в первый раз вздумала важничать? Очень бы любопытен знать, что за дело запало тебе в голову?

— И в сердце, батюшка... Мы... я, Виктор...

— Да, кстати, друг Виктор,— сказал хозяин, прерывая ее и дружески сжимая ему руку,— знаешь ли, что нам скоро должно расстаться?

— Я для этого-то и пришел к вам, почтенный хозяин мой. Нам должно расстаться или ненадолго, или навсегда. Коротка будет речь моя: ни мой, ни ваш откровенные нравы не имеют нужды в длинных околичностях и блестящих словах... Я люблю дочь вашу, она любит меня, ваше согласие даст нам счастье. Заверенный словом вашим, я по окончании войны прилечу сюда жениться.

— Жениться!..— вскричал с изумлением Саарвайерзен, отступая на три шага.— Жениться? Это коротко и ясно, Виктор, и быстро, хоть куда, да едва ли и не безрассудно также! Сегодня, никак, целый свет взяла охота свататься на моей дочери: не успел сжить с рук этого фанфарона, эту таможенную мышеловку, Монтаня, и другой готов уже на смену.

— Я смею надеяться, Саарвайерзен, вы не ставите меня на одну доску с этим искателем кладов?

— Сохрани меня бог, два аршина с четвертью. Я скорей бы согласился на своей фабрике век выделять попоны, чем позволить выставить его клеймо на лучшей моей ткани!

— Почтенный господин Саарвайерзен, я никогда бы не дерзнул искать руки вашей дочери, если б не имел на то единственного, по-моему, права: ее взаимности и пламенно-го желания сделать ее счастливою!..

— Любезный батюшка, я сердечно люблю Виктора!— вскричала Жанни, ласкаясь к нему.

— Ты сердечно говоришь пустяки, моя милая... Скажи-ка лучше, в котором боку у тебя сердце?..— возразил отец.— Девушки еще за куклами так же часто говорят *люблю*, как дьячки *аминь*, нисколько не понимая, что это значит, и я дивлюсь только одному, как смела ты сказать это слово чужеземцу, не спрося ни отца, ни матери, и раньше восемнадцатилетнего возраста. Что касается до тебя, Виктор, тебе не мудрено было полюбить хорошенькую девушку и единственную наследницу!..

— Саарвайерзен, вы можете отказать мне в благосклонности, но не в уважении. Я имею в России независимое состояние и везде доброе имя и не полагаю, чтобы я подал вам повод сомневаться в моем бескорыстии. Отдайте мне Жанни, как она стоит перед вами, и я буду не менее счастлив, не менее благодарен... Я буду богат, когда Жанни принесет мне в приданое любовь свою и согласие ваше...

— Хорошо сказано, молодой человек, и, что еще лучше, благородно почувствовано; но подумай и посуди сам, есть ли в твоём предприятии хоть нитка благоразумия? Я знаю о тебе столько же, как о летучей рыбке, которая взлетает над морем и опять скрывается в море. Не обижаю тебя сомнением, верю всем словам твоим, хотя при записке в долговую книгу супружества надобно бы для дочери желать должайшего знакомства и вернейшей поруки, но вспомни, что каждый шаг твой здесь куплен опасностью. Монтань уже подозревает что-то и не преминет донести своему правительству, у которого я давно на худом счету. Я сам собираюсь отсюда убраться тихомолком, покуда минут смутные обстоятельства. Кроме того, волей и неволей мы в войне с русскими, и бог весть, когда она кончится. Да если б и кончилась скоро,— скоро ль тебе будет возможно приехать сюда? Посуди притом, каково будет нам, старикам, разлучиться с любимой дочерью...

— Даю вам священное слово каждые два года приез-

жать сюда на несколько месяцев; готов даже навсегда поселиться с вами...

— И этого не хочу, любезный Виктор... Жена должна для мужа покинуть все на свете, но мужу для жены стыдно забыть отечество. Скажу тебе откровенно, ты мне понравился, и будь ты одноземец мой, я бы не заикнулся назвать тебя зятем, если б даже кошелек твой можно было продеть в иголку, но отпустить дочь за тридевять земель... Она так молода, ты так ветрен, что через полгода, статья может, оба не вспомните и не захотите узнать друг друга.

— Если б нам не суждено было видаться до второго пришествия, я и там бы встретил Жанни как супругу моего сердца,— сказал Виктор.

— Никто, кроме Виктора, не будет моим мужем,— приговорила Жанни решительно.

— Все это очень громко и очень ломко, друзья мои; вы говорите в горячке, а горячка есть болезнь, и непродолжительная. Рад верить, впрочем, что любовь ваша не поиняет ни от времени, ни от препятствий, и по тому-то самому полгода-год разлуки нисколько не помешает делу. Если ты возвратишься к нам в тех же мыслях и найдешь Жанни с теми же чувствами,— с богом, я не стану противоречить, а между тем мы лучше узнаем о тебе, а Жанни испытает себя.

— Могу ли я принять это за неизменное слово? Можем ли променом колец заверить будущий союз наш?

— Что касается до моего слова, любезный Виктор, ты можешь построить на нем замок, не воздушный замок, разумеется, а другое считаю излишним. Зачем надевать на себя путы, бесполезные между людьми благородными и предосудительные, если судьба разведет вас... Ты человек военный, тебя могут убить, и тогда Жанни останется вдовою, не быв супругою. Теперь обручение ваше походило бы на обручение дожа с морем.

— Это не пустой обряд, почтенный Саарвайерзен, не вздорная прихоть, нет,— это утешение сердцу, это залог

будущего счастья... Скрепите же его, освятите его своим благословением, дайте мне отраду считать себя не чуждым вашему семейству, дайте мне лестное право называть Жанни своею невестою, называть вас отцом своим...

Виктор склонил колено, прижимая руку старика к груди...

— Батюшка,— восклицала Жанни, возводя к нему заплаканные очи и объемля его колена,— сжальтесь, не будьте суровы, сделайте счастливыми детей своих!

— Полно, полноте, дети!— вскричал почти тронутый старик, вырываясь из их объятий.— Что это за картина венецианской школы! Что это за водевильные песни... Встаньте, утешьтесь... И я с вами разрюмился... слезы каплют у меня с лица, будто с молодого сыра. Встаньте, говорю я вам; я дал слово, и более ни слова... Не требуйте ничего лишнего, если не хотите, чтоб я отказал и в этом. Я должен быть рассудителен за вас, чтобы кто-нибудь из вас не пенял на меня. Завтра вы расстанетесь, а будущее зависит от вас самих. Дайте мне время образумиться.

Виктор ясно видел, что это полусогласие было чуть-чуть не отсроченный отказ; Жанни глотала все доказательства отеческие как зерна перцу; но делать было нечего, и они оба, поцеловав у старика руку, удалились с кисло-сладкими лицами.

Малорослый сын великой нации ехал в город, рассыпая проклятия на обе стороны; досада его раздражалась еще более тряскою рысю огромной фризской лошади, на которой он был точно миндаль на прянике. Не умея порядочно ездить, он беспрестанно скользил то вправо, то влево по широкому седлу. Спутник его, морской солдат самой разбойничьей физиономии, тащился сзади, скорчившись на тощей кляче, как на салинге, и, куря коротенькую трубку, при каждом скачке капитана приговаривал:

— Проклятые лошади!

— Лошади и люди, Брике, вода и земля — все негодно в этой несносной стороне, *douze cents bombes!*¹

— Это и мое мнение, *mon capitaine!*² — примолвил Брике.

— Это и мое убеждение, Брике, мое душевное убеждение. Что такое здешние мужчины? Гордые лавочники! Что такое здешние дамы? Бестолковые поварахи. А девушки? Это ходячие кувшины с молоком. Никакого тона, *mon cher*³, никакого умения жить в свете, ни малейшего взгляда отличать достоинства... Для них кусок лимбургского сыра с червями предпочтительнее любого дворянина с тринадцатью поколениями предков!

— Это ясно, как шоколад на воде, капитан, и я, право, расчесал себе голову, отгадывая, почему вздумалось вам удостоить это утиное племя своим выбором; правда, мамзель Саарвайерзен богата, и жениться на ней...

— Скорее женюсь я на адской машине, чем на этой голландке. Все, что я рассказывал тебе прежде, была одна шутка, *douze cents bombes*, если не шутка! Я только для забавы посватался на дочери суконника, и как ты думаешь, он принял мое предложение?

— Разумеется, кинулся к вам на шею с расстегнутыми карманами и сердцем, — отвечал лукаво Брике.

— *Rien moins que ça*, Брике, ничего менее этого: он дерзнул отказать мне...

— Вы шутите и со мною, капитан!.. Полагаю, что в его кочане немножко поболее смыслу.

— Весь его смысл не стоит пары собачьих подков, Брике; он отказал наотрез. Он вздумал, что он очень важный человек, оттого что на полу у него бархатные ковры, а на столе фарфоровые плевательницы! Велика птица! Да если б его сукном можно было обтянуть земной шар, а червонцами запрудить Зюйдерзее, я и тогда отсмею ему насмеш-

¹ Тысяча двести бомб! (фр.)

² Капитан! (фр.)

³ Дорогой мой (фр.).

ку. Не ему чета были бургомистры амстердамские, да и те перестали ковать колеса и коней серебром, а его-то и по-давно можно просеять сквозь судебное решето.

— Не только можно, да и должно, капитан,— он законстелый оранжист.

— Он мятежник,— это по всему видно. Во-первых, читает английские газеты.

— Во-вторых, богат, как жид.

— В-третьих... да что за счеты? Виноват кругом, да и только.

— В-четвертых, держит у себя подозрительных людей.

— Каких подозрительных людей?— сказал Монтань, обернувшись к своему оруженосцу.— Про каких людей говоришь ты?

— А вот изволите видеть, *mon capitaine*: недели с две тому назад ходил я с товарищами дозором...

— Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь: каждый гульден тебе кажется запрещенным товаром, и ты конфискуешь их в свою пользу. Я ничего не хочу слышать, Брике, но попадешься — пеняй на себя: Наполеон не любит дележа.

— Всякому свое ремесло, капитан: кто любит брать города, кто — ломать сундуки.

— В том только разница, что кто ограбит королевство, тому ставят торжественные ворота, а кто крадет из-за замка, тому виселицу. Да не о том дело, приятель: о каких подозрительных особах говорил ты мне?

— Ходя дозором, как имел я честь доложить вам, увидел я, что шесть человек вошли на мельницу вашего нареченного тестя. Вот меня и взяло любопытство: дай посмотрю в комнату; влез на окно, гляжу и вижу...

— Во сне или наяву, Брике?

— Я бы желал тогда быть на моей койке, капитан, и храпеть во славу божию, вместо того чтоб дрожать, увидя там забияк, вооруженных с головы до ног и таких страшных с ног до головы, что наши саперы старой гвардии по-

казались бы перед ними голубками; они говорили таким дьявольским языком, что у меня и до сих пор звенит в ушах.

— Это, наверно, английские зажигатели, Брике.

— Они так и глядели, капитан, как будто у них в каждой пуговице сидело по целой роте чертей. Вот и заметил я, что молодой человек, который казался их атаманом, увидел меня сквозь стекло, и все восьмеро с воплем кинулись за мною в погоню.

— Ты, помнится, рассказывал, что их было шесть человек?

— Я сначала обсчитался, капитан, только знаю, что *оба* они в меня выстрелили; да я не дурак, ночь была пре-темная, кинулся на землю и прижался к ней, как подошва. Они долго искали меня, но видя, что ничего не видно, ждали, ждали, *да и пошел!*

— Чудеса ты рассказываешь, Брике; ну, что ж потом?

— Потом я давай бог ноги, убежал, не оглядываясь...

— И только?

— О нет, капитан, совсем не только! Сегодня, за полчаса перед этим, после вашего обеда, стою я смиренно в поварне. Выходит туда так называемый племянник хозяина закурить сигарку. Я сейчас в карман, оторвал клочок от вашего счета с президентом муниципалитета, или нет бишь, от...

— Чтоб черт взял тебя с твоими присказками! Говори коротко и просто.

— Чего проще этого, капитан, что он раскурил сигарку и сказал мне: «Спасибо, друг мой!»

— Я тебе отблагодарствую этим бичом так, что ты и вперед закаешься терзать меня своими семимильными рассказами!

— Тут каждое слово — дело, капитан. Вот изволите видеть, как он раскурил сигарку, глядь я, ан это тот самый молодой человек, который за мной гнался с мельницы.

— Может ли быть? Неужто в самом деле? Да это находка, друг мой! Теперь говори, что я не гений, я с ничего

заметил в этом насмешнике врага Франции и уж пугнул за него хозяина порядком.

— А пять человек, как я узнал стороной, спрятаны у него на фабрике. Старик рассказывает, что они машинисты, да черт ему верит. Верно, бьют фальшивую монету, ведь неспроста же он так богат.

— Еще лучше, еще превосходнее, Брике!.. Теперь и у нас перестанет ходить в карманах сквозной ветер. Завтра же, чем свет, донос правительству, что такой-то фабрикант печатает у себя возмутительные прокламации, собирает оружие, а что главное всего, держит англичан для зажжения города... Славно, Брике... бесподобно! Будет чем погреть руки!

— И давно пора, капитан, а то, право, срам Франции, что она позволяет этим кургузым жидам толстеть и богатеть. Разве даром мы великая нация?

— Как попадет к нам в лапки да пристращают в военном суде дюжиною свинцовых пуль, так радехонек будет отдать свою Жанни за самого сатану, не только за меня, дворянина с тринадцатью поколениями... Государственная измена — это не шутка, г-н Сарвезан, — это не шутка!

Деля в мыслях добычу, капитан с достойным своим наперсником въехал в крепость при ниспадающей ночи.

ГЛАВА VIII

*Вот так-то свет идет; но почему он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.*

Фон-Визин

Поутру, на другой день, приказ захватить Саарвайерзен был подписан комендантом Флессингена и двенадцать солдат для исполнения этого наряжены. Отдавая, однако ж, Монтаню повеление, комендант заметил ему, что безрассудно было бы арестовать человека, всеми уважаемого и очень

любимого рабочими, посреди его фабрики, где народ может возмутиться и отбить пленника; а потому советовал выманить его оттуда под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном месте и без шума. Капитан отдавал в заклад всех своих предков, что он смастерит дело так искусно, что сами бесы будут краснеть от зависти.

Случай — эта повивальная бабушка всего худого и доброго — натолкнул как будто нарочно капитана на долгоногого Гензиуса, который как аист шагал по кирпичной набережной мутного канала. За ним шел человек в матросской куртке, с узлом в руках. Монтань остановился: нос таможенного есть самый чувствительный инструмент в своем роде; в старину верили в чудесный прутик, открывающий клады и ключи; этот прутик в наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше всякого ворона чуют они добычу, и будь контрабанда спрятана хоть в желудке, от них она не скроется.

«Тут что-нибудь недаром... — подумал капитан, поворачивая носом, как флюгером. — Гензиус выходит от банкира. Гм, ге! Этот рыбак — самый удалой смоглер и уж не раз вырывал у меня из-под носу лакомые куски, — верно, какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сношения ли с неприятельским флотом?.. Зачем эти сделки денежные? Почему он взял, черт ведает откуда, чужого человека, когда своя контора набита поденщиками? Что за связка у него в руках?»

И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, запыхавшись, схватил его за полу.

— Bonjour¹, дорогой Жензиус, — сказал он.

Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесился у него на рукаве.

— Куда идете? — спросил он.

— Прямо по дороге, — отвечал он.

¹ Здравствуйте (фр.).

— Замысловато, господин Гензиус, очень замысловато, это доказывает, что натошак и голландский ум может летать по крайней мере как волан... Но так как я уверен, что вы не променяете добрый завтрак на всю остроу человеческого рода, то не угодно ли будет сделать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что там за портер! Я хоть таможенный, да гляжу на все то сквозь пальцы, что цежу сквозь зубы.

— Портер?— произнес Гензиус, облизываясь, и уж ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, остановила его, будто камень преткновения.

— Благодарю покорно,— отвечал он со вздохом,— ни минуты нет времени, до другого раза, капитан...

— И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо не пишет, и чтобы подкрепить ноги, надо приласкать брюхо.

— Чувствую истину этого и не могу ею воспользоваться. Прощайте, капитан.

— Жаль, право жаль, любезный господин Гензиус, а мне бы надо было поговорить с вами о новом подряде на сукна. Я сегодня, по поручению генерала, поеду в Фламгауз.

— И поедете напрасно; хозяин мой сегодня целый день будет считаться с мельником,— ныне начало месяца!

«На мельнице? Ага!— радостно подумал Монтань.— Золотой бочонок сам катится к нам в погреб. Дельно! Теперь, господин счетчик, можешь идти куда хочешь: я вытащил из твоего носу червячка и без завтрака».

— Брике!— вскричал он,— следи этого архибестию рыбака Фландеркина, пошли вслед за ним человек пять издали и скажи: если увидят, что он готовится спустить лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на брандвахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в засаду близ мельницы Саарвайерзена, и всех, кто в ней, захвати и веди в город за конвоем... мужчин и женщин. Смотри же, не выпускай никого, а пуще всех старика.

— Будет исполнено, капитан!— отвечал Брике.— Только при дележе не забудьте, что я вас навел на дичинку, а то до сих пор начальники брали деньги, а мне оставляли одни тычки,— только из этой поживы они не брали законной себе доли.

— Будет всем пожива,— отвечал капитан, потирая руки.

Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая избавить хозяина от посещения некстати, предал его в руки бездельников. Таким-то образом и самая извинительная ложь рано или поздно, но всегда становится вредною.

К вечеру Саарвайерзен с Виктором и дочерью, которая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, приехали на мельницу. Матросы их ждали там еще с прошлой ночи, и, когда стало смеркаться, все было готово к отправлению. Покуда еще хоть день, хоть час, хоть миг остается до разлуки, сердца любовников не перестают еще надеяться: они, кажется, ждут чуда, которое отвлечет ее, но зато тем ужаснее бывает для них минута расставанья; она всегда для них внезапно и будто рассекает их пополам. Жанни плакала и молчала, напрасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, и, наконец, все трое уселись, как будто провожая кого-то не к избавлению, а на казнь. Время уходило... Саарвайерзен вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пружиной; они звонко пробили пять.

Виктор встал с тяжким, глубоким вздохом; рыдая, упала Жанни на грудь отца.

— Прости, Виктор, прости навечно; я предчувствую, что мы более не свидимся,— произнесла она,— прости!

Виктор пламенно поцеловал оставленную ему руку, и его слеза капнула на нее.

— Достойная Жанни,— сказал он,— пусть эта капля будет печатью душевного союза, и да откажет мне бог в слезах в горькие часы жизни, если я для каких бы то ни было радостей замедлю своим возвратом.

— Два аршина с четвертью!— вскричал отец, обнимая

отъезжающего и вытирая о его плечо глаза свои.— Откуда набрались вы этих романтических покровок?.. Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая: новая весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу. В чудные веки мы живем, в чудные веки!— ворчал Саарвайерзен, влезая на лошадь.— Вчерась еще поутру я бы ручался, что моя Жанни не отличит петуха от курицы, а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождавшись законного возраста... Смотри, пожалуй.

От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по которой шел Виктор после кораблекрушения, другая правее на Дендермонд; по сей-то последней отправились наши путники. Виктор ехал безмолвен, сная печаль в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными плохая беседа, разговаривал с проводником, несшим фонарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили промеж собою.

— Что ж мы, братцы, станем рассказывать товарищам у табачного бака, коли бог принесет на свой корабль?— сказал урядник.

— Что лягушки здесь царствуют, а люди живут как у нас лягушки,— отвечал один.

— Вот уж напрасно охаял Голландию,— возразил другой,— стыдно, где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе здесь не доставало? Можжевеловой — хоть не пей, свежины вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что бока отлежала.

— И впрямь, брат, грешно словом укорить наших хозяев,— чего только душеньке угодно, давали: хлеб белый как месяц, сыр объеденье да утром еще и кофеи!

— Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскомину набили. Видел, брат, я, что они с кофея-то одной жижицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про сыр и говорить нечего,— весь в дырах! Небось молодые сыры подальше хо-

ронят; а уж и подметил я у них здоровенные, что твой кирпич. В одном фунте фунта два будет!

— У всякого своя заведенция...— примолвил Юрка.— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мне, там такое было житье, что коли во сне увижу, так, я думаю, сыт буду.

— У лентяя вечно масленица на уме,— возразил урядник,— то ли дело между своими на службе: горя много, да уж зато и утехи вдвое. Нароботаешься на вахте до упаду, насмеешься за ужином досыта, и, не дослушав сказки, засыпаешь, убаюкан бурею в койке, и гоголем вскочишь, когда закричат: «марсовые, наверх!» Дай бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, а дома лучше!

— Дай бог, дай бог обняться с нашими нетронскими!— воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу.

Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. Темное море плескало в него тихую зыбь. Запорошенные инеем дороги и плотины, будто раскнутые холсты, тянулись вдаль и сливались с туманом, который начал подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души.

— Фландеркин-флаат!— произнес проводник, ударяя в ладоши.— Он здесь должен был нас дожидаться.

После многих побегушек в разные стороны оказалось, что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство.

— Sapperloot!— вскричал он.— Я живьем истолку эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить слова,— это неслыханно! Я его так взогрею, что мои талеры растают у него в кармане... Проклятый пьяница!.. Верно, где-нибудь теперь прохлаждается в шинке; но будь я не я, если он не завертится кубарем от этой плети, прежде чем у него высохнут губы.

Но брань ничему не помогала. Положение Белозора и матросов его было самое критическое, и, наконец, Саарвайерзен, послав на Викторовой лошади проводника влево, по-

скакал сам внутрь земли искать рыбака в его домике, восклицая, что он разбудит его кулаком своим не хуже сукновального молота и сделает из его спины клетчатую шотландскую тартану!

Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лошади по шоссе.

Виктор, видя, что рыболов или обманул, или изменил, решил пуститься по берегу влево, для встречи с ним или для изыскания другого способа спасения. Поравнявшись с тем местом, где выброшен был бурей на берег, заметил он нечто белое.

— Посмотри,— сказал он уряднику,— мне что-то видится впереди!

— Если б я не знал, ваше благородие, как разбило в щепы нашу четверку, я бы подумал, что это она ожила и выползла на берег, как тюлень!

В самом деле, то была шлюпка, обороченная вверх дном.

— Тише, тише, ребята!— сказал Белозор.— Мне кажется, подле ней вижу я людей, спящих под парусом; да вон на козлах блестят и ружья; это, должно быть, досмотрщики. Ползком подберемся к ним и накроем врасплох, как утят в гнезде.

Едва дыша, приближался Белозор впереди всех... Но французы спали крепким сном, и захватить их было трудно. С криком кинулись наши сперва на ружья, потом на сонливцев и, пригвоздив штыками углы паруса к земле, как перепелок из-под сети, вытащили поодиночке пленников, связывая им руки и клепля рот. Из четырех оставили только одного без повязки для допроса.

— С какого ты судна?— спросил его Виктор.

— Мы таможенные солдаты,— отвечал он,— с брандвахты (patache) le Friseur.

— Кто у вас капитан?

— Монтань-Люссак.

— Старый знакомый. А зачем вы на берегу?

— Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, отправились в середину края; мы берегли шлюпку.

— Благодарю, что сохранили ее для нас. Теперь, братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он лежит на дне вместо балласту.

Шлюпка была уже спущена на воду, и матросы, опершись на весла, с нетерпением ждали приказа отвалить.

— Не прикажете ли остальных на упокой?— сказал Юрка, замахиваясь багром на связанного солдата.

— Пошел в свое место,— гневно вскричал Виктор,— и помни, что русские не бьют лежачего. Все ли готово?

— Все до крошки!— отвечал урядник.— Крестись, ребята, весла на воду... гребите!

Между тем как это происходило на берегу, Жанни одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глубокую истину заметил тот, кто сказал, что женщина, любя впервые, любит любовника, потом уже одну любовь. В первом случае вся она будто поглощена бытием друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним разлука для нее уже истинное бедствие. Во всех последующих любовник для нее уже не предмет, но только средство наслаждения, и, проливая слезы разлуки, она уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требует постояльца: любовь для нее уже не страсть, а привычка.

Но Жанни любила впервые и со всею пылкостью души чувствительной, с безграничным доверием доброты. В краткий век этой девственной склонности она пережила все возрасты страсти, кроме ревности, и можно представить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, озарил перед нею мир, лежавший дотоле перед ее очами темною громадою, увлечен был от ней судьбою, от нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь свою... Сердце ее, кипящее юностью, легко приняло впечатление страсти, как плавкое стекло, и, как со стекла, чтобы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как разбив его. В это время вбежал к ней Гензиус с бледным, вытянутым лицом...

— Где ваш батюшка? Где все они?— спросил он торопливо.

— Там, где бы желала быть и я,— отвечала Жанни, не обращая внимания на необыкновенные приемы бухгалтера.

— Ради «Groos Bich», юнгфров, скажите, по какой дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опасность!

— Батюшка в опасности?!— вскричала, вспрыгнув, испуганная Жанни.— За что? от кого в опасности?..

— Бургомистр Гоог Воорст ван Шпан...

— Какое мне дело до вашего бургомистра? Скорей и яснее!

— Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнгфров... Говорил я вашему батюшке, что быть беде за русских, которых держал он на фабрике, а Монтань и подвел к этому свои итоги; он донес правительству, что ваш батюшка держит у себя зажигателей-англичан, печатает прокламации против Наполеона и хочет изменой захватить крепость. И вот его велено заключить в темницу и судить военным судом... Спасибо за уведомление бургомистра Гоог Воорст ван Шпандербергера, а то бы...

— Заключить, судить!.. умертвить его! У тигров всегда виноват человек... Недоставало только этого к нашему несчастью... Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачите, летите навстречу батюшке, уведомьте его; пусть он бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, возьмите эти брильянты, которые получены только что из переделки...

— У меня в кармане значительная сумма, взятая от банкира; притом же...

— Спешите, сударь, говорю я вам!— воскликнула Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, где и как он, наверное, найдет отца ее.— Пусть не беспокоится он о нас; с нами ничего не сделают.

— Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня,— говорил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь,— беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойников, а храни бог, как девушка.

Удар бича, которым попотчевал мельник его буцефала, прервал речь всадника, и скоро умолк скок неопытного гонца.

Жанни была в неопишемом положении: любовь к отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не только самую себя. Она уговорила старика слугу, приехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать отыскивать отца. Кучер был проводником. Итак, она осталась одна со стариком мельником и его женою. Запершись кругом, со страхом ждали они известий... Через час места послышался стук у дверей.

— Отворите,— произнес грубый голос,— отворите по приказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, с вами поступлено будет как с мятежниками и дом ваш разграблен дотла!

Это был Брике с командою.

— Боже мой,— вскричала хозяйка,— это голос того же разбойника, который вязал нас две недели назад! Когда господь избавит Голландию от этих гербовых злодеев!

— Что ты колдуешь там, старая ведьма? — возгласил Брике.— Отворяй, или мы высадим двери прикладами!

— Что нам делать? — шептала Жанни хозяйка.— Их много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? Мы пропали с добром и с косточками!

— О вещах не горюй, старуха,— возразил хозяин,— добрый наш господин втрое заплатит за все; но что будет с вами, сударыня!..

— Что угодно богу,— с твердостью сказала Жанни,— я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых бездельников... Хозяин, задержи их всякими средствами, а я бегу встретить своих или кинуться в воду...

С этим словом она накинула шубу свою, схватила ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно.

Она уже была далеко, когда треск одних за другими падающих дверей долетел до ее слуха.

Быстро, не отдыхая, бежала она по плотине к морю; страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги:

— Батюшка! Виктор!..— кричала она, слыша за собою гонящихся солдат.— Виктор!— повторяла она исчезающим голосом, видя отваливающую шлюпку, но слабые звуки умирали на ветре.— Спасите!— восклицала она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, но безжалостное заглушало мольбы ее плеском.— Виктор!— вскричала она в последний раз и упала без чувств на холодную землю.

ГЛАВА IX

*...За счастьем, кажется, ты по пятам
несешься,
А как на деле с ним сочтешься, —
Попался, как ворона в суп.*

И. Крылов

Знакомый голос проник до сердца Белозора; шлюпка дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту Жанни лежала уже на руках друга; но между тем погоня была близка... С бранью и проклятиями бежали к берегу солдаты. Что было делать Белозору? Оставить ли невесту свою в жертву дерзости и своевольства? Нет, нет... Он бережно поднял драгоценное бремя и прятнул в шлюпку...

— Отваливай!— вскричал он, и шлюпка ринулась с берега, как испуганный лебедь.

— Остановитесь!— летело вслед ему.— Стой! или мы будем стрелять!— кричал Брике. Ружья патруля сверкали.

— Позволяю!— отвечал Белозор, спуская курок пистолета, и Брике покатился в воду. Беглый огонь полетел в шлюпку, но мрак и волнение мешали цельности выстрелов.

Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы только смеялись, слыша, как свистят они и падают в море.

— Спасибо за парадные проводы!— кричали они беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом

веслами быстрая шлюпка, шипя, взбегала на волны, как будто порываясь взлететь над ними. Однозвучное ударение в уключины и плавное колебание судна погрузили Жанни в глубокий сон из бесчувствия. Прислоня голову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее дыханию; оно было легко и покойно, но зато Виктор был далек от покоя... Он со страхом замечал, как свежал ветер, как сильней и сильней плескалось волнение. Непостоянное течение менялось, туман неся над водами... С каждым мигom надежда добраться до флота, далеко лежащего от берега, становилась несбыточнее.

— Держись на веслах!— сказал он, желая обознаться, куда грести. Матросы безмолвно, опершись о вальки весел, глядели на воду. Непроницаемый туман клубился окрест, и только шум всплесков о водорез, только брызги их были ответом на взоры и внимание Виктора. Брошенная на волны бумажка тихо плыла влево; но кто поручится, что ветер и течение не изменились? И нет компаса, чтобы их поверить.

— Мы заблудились, ваше благородие,— сказал урядник,— если выгребем в открытое море, то погибнем без сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать плена.

— И еще вернейшей смерти. Теперь с нами поступят как с беглецами, особенно за убитого... Но постой, это колокол, раз, два, три!

Било восемь склянок. Нигде так величественно не слышится бой часов, как над бездной океана во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям гения веков, жидущего незримо и неотклонимо.

Колокол затих, гудя.

— Это должна быть ваша брандвахта!— вскричал с радостью Белозор к связанному французу.— Сколько на ней команды, друг мой? Но смотри, не хвастай!

— Более чем нужно, чтобы развешать вас вместо фона-

рей по концам рей,— отвечал француз, ободренный близостью своих.

— Ты не будешь этим любоваться, если не перестанешь остриться некстати. Мы, русские, любим посмеяться смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам!

Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный оробел.

— На судне осталось только двенадцать человек,— отвечал он.

— Тем лучше,— сказал Белозор.— Ну, товарищи, нам единственное спасение завладеть тендером. Не скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; славы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. Грянем, что ли, ребята?

— Грянем, Виктор Ильич, постоим за матушку-Русь, знай наших нетронских! В огонь и воду готовы!— вскричали в один голос удалые матросы.

— Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога сорвать — копейка,— жить весело и умереть красно! Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и, как скоро привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или коли упорных. А между тем обвертите шейными платками вальки, чтобы они не брякали в уключинах; только бы добратся, а то все наше: пей — не хочу!

Скользя, как тихая тень, понеслась шлюпка, и скоро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла своим бугшпритом в воду. За сеткою мелькала одна голова часового.

— *Qui vive?*¹ — раздалось с борта.

— Отвечай отзывом,— шепотом сказал Белозор пленнику, приставя пистолет к груди.

— *Le diable à quatre* (бес вчетвером)! — закричал тот.

— *C'est un bon diable* (это добрый черт), — примолвил

¹ Кто идет? (фр.)

часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать наверх офицера; но Белозор перескочил в это время на палубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было исполнено по приказанию.

Палуба находилась во власти русских, а внизу никто и не подозревал о том.

Белозор, рассматривая сквозь стеклянный люк, что в капитанской каюте сидят за столиком трое офицеров и шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спустился по трапу (лестенке) к дверям и остановился послушать речей их.

— Ты прелюбезный злодей!— говорил Монтаню один из таможенных чиновников.

— Настоящий людоед на женские сердца!— примолвил другой.

— Небось на контрабанду и шашни не дам промаху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов для науки в любовной охоте; одним камнем двух птиц зашибу.— Это говорил Монтань.

— А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе?— произнес первый голос.

— Ха, ха, ха!— отвечал капитан.— Голландское сердце всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправлен ящик с шампанским, подогреть их патриотизм; обвинение важное, и только рука Жанни выскоблит его.

— То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, разумеем под этим не одни пальцы,— сказал другой,— но и кольца, и перстни, и все, что в ней и на ней?

— Да уж что толковать об этом; будущий тесть мой богат, и я заживу как маршал, разграбивший провинцию. За здоровье нареченной моей!

— То есть за толстоту мешков ее приданого!— вскричали оба.

— Само собой разумеется,— возразил Монтань,— что я жену считаю приданым, а гульденy, будь они старше Ново-

го моста, своею супругою. Между тем пускай ждет старый скряга нанятой лодки, когда она у нас за кормою, да, чай, уж теперь и сам к нежданым гостям в гости собирается. Я велел привезти сюда только молодого забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. Завтра опечатаем фабрику, *et vogue la galère* (плыви, корабль), как не отдать дочери за француза!..

— И старого дворянина,— молвил другой лукаво.

— И таможенного капитана императорской службы!— гордо воскликнул Монтань.— Господа, здоровье Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду хозяева!

Все подняли бокалы, восклицая:

— Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда русских, мы сотне хвосты ошиплем!..

Дверь скрипнула, и Белозор упал как звезда с неба и, напив порожний бокал, дал знак изумленным французам, чтобы они подождали...

— Здоровье императора Александра!— крикнул он; но гости поглядывали друг на друга, как будто спрашивая отгадки этой мистификации.

— Пейте, господа!— грозно воскликнул Белозор.— Или я заставлю вас выпить соленое море вместо шампанского; вы хотели ошипать сотню русских, ваше желанье исполнено: я русский!

— Это уж чересчур дерзко,— вскричал Монтань, хватая Виктора за ворот.— Не бойтесь, господа, это тот самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, воротилась наша шлюпка и привезла пленника. Смотри, пожалуй, да какой ты забияка!

Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как кошку, и бросил его на стул.

— Что я приехал на твоей шлюпке, это сущая правда, капитан! Только меня не привезли сюда, я сам за долг счел отплатить визит любезному другу. Пейте же, господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или я раздроблю голову упрямым... Что вы глядите на меня?.. Вы мои плен-

ники, господа! Я имею на то трехгранные доказательства! Гей, наши!

Разбитые стекла капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на офицеров, зашверкали с палубы; они оцепенели на стульях, а храбрый капитан залез под стол.

— Вы можете вести переговоры из вашей крепости, — сказал ему Белозор, — но знайте, что прелиминарная статья есть все-таки здоровье императора Александра... Да здравствует победитель Наполеона!

Французы, морщась, выпили свои бокалы.

— Теперь, господа, пожалуйста ваши шпаги; я ручаюсь вам за целостность вашего имущества и невредимость ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти в матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и также выслать их наверх; но я предуведомляю вас, что если вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; у меня тридцать человек на палубе, и ваш же фальконет наведен в пороховую камеру. Остальные останутся при мне заложниками.

Сказано — сделано. Не зная зачем и куда, вылезали матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев помогали русским. В четверть часа судно было в полной власти их, и как ветер крепко дул с берега, то Белозор велел отрубить канат, отдал паруса и быстро покатился в океан, рассекая туман и волны. Нужно ли рассказывать, что пробужденная Жанни все еще не верила, что она видит это не во сне? Так чудно, так необычайно казалось ей все, что происходило.

Сквозь туман, летящий клубами с болотистых поморий, повременно сверкали фонари на флоте, и, наконец, Белозор явственно разглядел крайний корабль свой «Не тронь меня!». Надобно вам сказать, что во время якорной стоянки вблизи неприятеля посылаются обыкновенно кругом каждого корабля дозорный катер, и таким-то катером встречено было судно Белозора... Молодой мичман, командовавший

оним, не разглядел в тумане приближающегося и потому не мог опознать издали; но вдруг, заметя парус, выходящий из паров, дал по нем выстрел из фальконета и изо всех сил пустился грести назад. В один миг распространилась тревога по всей линии; батареи открылись и осветились, фитили засверкали везде; черные громады кораблей казались тогда стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он ведет призовое судно,— голос его замирал в шуме ветра. Видя опасность, он направил ход прямо к носу корабля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, но эта надежда была недолговременна. Когда он находился не далее полутора кабельтова от «Не тронь меня!», погонные пушки были привезены и готовы. Им даже слышно было, как лейтенант командовал:

— Обдуй фитиль! Пли!

Выстрел взревел; огненное облако озарило ночь, и ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, прыгнуло через, разбив гафель, и пошло рикошетами далее.

— Покуда снимают с нас только шапки,— сказал Белозор, глядя на сорванный топсель,— но скоро доберутся и до головы.

— Вторая! пли!— раздалось с форкастля.

Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, перелетело вдоль тендера; оконтуженный французский офицер упал на палубу.

— Ядро виноватого найдет!— сказал один матрос.

— Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его месте,— молвил Юрка.

— Полно дорожиться, и пятьдесят линьков было бы довольно,— возразил, шутя, урядник.

— Это еще яблочки,— сказал третий,— а вот скоро потчуют смородиной,— держите шире карманы!..

— Что вы тут болтаете как сороки!— вскричал Белозор.— Кричите-ка громче пушек, а не то дорога нам будет расплата за непрошенные гостинцы.

— Не стреляйте!— заревели матросы на тендере.— Мы русские, мы нетронские!

Фитиль остановился над пушкой.

— Долой паруса и держите под наветренный борт, если вы русские,— раздалось сверху.

Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас пристал к борту тендера. Дело объяснилось; их сочли брандером, но теперь, ступив на корабельные шканцы, Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, задушаемых дружескими объятиями. Все толпились кругом его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор воскрес!» — и никто не понимал друг друга. Наконец любопытные должны были уступить место Николаю Алексеичу, как старому другу найденного.

— Ну, брат, чародей ты, Виктор,— говорил он, обнимая друга со слезами на глазах,— на огне не горишь, на воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки расспрашивали,— ни слуху ни духу! И вдруг, когда полагали, тлеешь на дне морском, словно оторванный верп, ты прикатил к нам подо всеми, живехонек и здоровехонек!

— Да и прикатил-то еще не один; этот тендер вырезал я из-под батарей Флессингена; но об этом долга песня, только ты, Николай Алексеич, сократил было ее: если б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встреча была бы поминками.

— И что за счеты между своими,— ты бы из воды сух вышел... Да это что у тебя за яхточка на бакштове?— примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, которая робко озиралась на незнакомцев.— Недаром, право, мы приняли тебя за брандера; в таких глазках больше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь союзный флот.

— Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою спутницу в кают-компании, покуда я объясняюсь с капитаном.

— В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь принимать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса с прекрасною девушкою.

— Это будет тебе отместкой за встречу!

Капитан принял Белозора, как отец спасенного сына, и когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил его, что такой подвиг не останется без представления со стороны высшего начальства и без награды от государя. Но вдруг, переменя ласковый на строгий тон, он спросил его:

— Какую девушку привезли вы с собою?

Белозор покраснел и смешался. Капитан, качая головой, слушал доводы, почему ее необходимо должно было взять с собою.

— Все это прекрасно, Виктор Ильич,— возразил он,— и очень справедливо, но всем ли вероятно? Для людей мало быть честным, надобно и казаться таким же. Ваше самоотвержение для спасения утопающих, ваше чудесное возвращение с призом, даже громкая встреча,— все обратит на вас внимание всех офицеров соединенных флотов; но это же самое возлагает на вас тройную обязанность сохранить свое имя не только без упрека, даже без сомнения... А кто, не зная вас, не подумает, что этот роман изобретен для прикрытия любовной связи!

— Капитан!..— вскричал Белозор, вспыхнув.

— Выслушайте меня хладнокровно. Гораздо лучше узнать от друга то, что могут говорить о вас насмешники за глазами или намекать вам о том лично. Вы будете сердиться, а над вами станут смеяться; вы будете стреляться и еще больше огласите эту сказку, придадите ей существенности. Во-первых, вспомните, как строго запрещают морские законы присутствие женщин на корабле в военное время; с какими же глазами я поеду рапортовать о том английскому адмиралу?.. Конечно, первый вопрос его будет: что она — жена или сестра господина лейтенанта?

Белозор мрачно потупил очи.

— Положим, что я представлю ему неотвержаемые причины, как бесчестно и бесчеловечно было бы оставить ее в руках французов, положим, что он всему охотно поверит,— могу ли, однако ж, я передать это убеждение всем англичанам, которые никому не уступят в злословии? Но допустим,

что эта мнимая любовная выходка не только не повредит вам во мнении старых моряков, но сделает вас героем молодых; не должны ли вы позаботиться о чести этого невинного существа, которому вы случайно стали единственным покровителем? Доброе имя девушки, Виктор Ильич,— крылья мотылька: одно прикосновение уносит с него золотой пух навсегда.

— Это был безрассудный поступок с моей стороны,— сказал Виктор печально.

— По крайней мере несчастный случай. Кто будет защищать ее от насмешек, кто будет иметь право отомстить за оскорбления? Где и с кем будет жить она на корабле, не подвергая теперь — своей скромности и всегда — своего доброго имени?

— Вы меня ужасаете!.. Но мог ли я, должен ли был поступить иначе?.. Что прикажете делать мне теперь, капитан?

— Прошу и советую, если вы цените уважение всех людей благомыслящих, женитесь на ней.

— Жениться?!— вскричал изумленный нечаянностью Белозор.— Мне жениться?..

— Конечно, вам. Вы не удостоили меня полной доверенностью, Виктор Ильич, но у влюбленных душа пробивается сквозь поры, и мне сдается, что эта девушка вам нравится, то есть очень нравится?..

— Это дело не так страшное, капитан: она моя невеста.

— Какой же я чудак!— воскликнул с радостью капитан.— Уговариваю, когда надо было только намекнуть! За чем же дело стало? По рукам, да и к налоу!

— Так скоро, капитан?

— Сей же час, сию минуту!.. Не должно, чтоб ни одна заря не рассвела над ней необвенчанной, если хотите, чтобы ее честь не знала сумерек. Я уступаю вам свою каюту, и могу ли поздравить себя дружною?

— И другом истинным, капитан!— произнес тронутый Белозор, простирая к нему руку.— Я сам бы никак не при-

думал уладить дело, хотя оно было самою лестною моею мечтою, и по неопытности настроил бы хлопот и себе и другим. Но у нее есть родители, люди очень богатые... подумают...

— И раздумают; нужда переменяет даже законы. Они сначала, быть может, и посердятся, потом поплачут, а потом простят и станут благодарить. Я иду распорядиться.

Если б Виктор не любил Жанни, то красноречие самого адмирала белого флага не убедило бы его, но тут несколько слов капитана бросили искры в порох. Небольшого труда стоило ему уговорить и Жанни: необходимость брака была слишком очевидна, и когда сердце заодно с разумом, согласие на устах. Мигом поспели из тонкой меди согнутые венцы, и жених с невестою, украшенные юностью и любовью, весело приступили к брачному налою. Николай Алексеевич держал венец над невестою, краснея сам пуще ее и не зная, на которую ногу ступить. Капитан нашептывал что-то на ухо жениху, и толпа офицеров окружала счастливую чету с ропотом ободрения. Вся команда, взмощаясь на пушки, с любопытством глядела на обряд, не виданный под палубами; слабо озаренная батарея исчезала во тьме, и плеск валов и завывание ветра придавали какое-то священное величие этому торжеству.

Сладко сорвать поцелуй втайне, сладко получить его неожиданно, но всего сладоостнее лобзание венчанья, когда в глазах всего света, не краснея, вы можете назвать милую *своею*. Какой-то неизъяснимый, священный восторг проник молодых, когда они слились устами, запечатлевая поцелуем союз супружества... Это был задаток будущего блаженства, будущего благополучия. Шампанское запенилось, и Жанни, стоя на пороге спальни, пылая как роза, благодарила всех присутствующих.

— Приятной ночи!— сказал капитан, раскланиваясь с лукавою улыбкою, и задернул двери.

Канва для пылкого воображения.

Поутру захваченные Монтанем голландцы возвратились на берег и привезли матери Жанниной известие о ее замужестве. Через три дня флот пошел зимовать к Чатам, и первый, кого встретили на берегу новобрачные, был Саарвайерзен. Старик плакал и смеялся, сердился и радовался вместе, но все кончилось как нельзя лучше. Через неделю получили письмо от матери, в котором она присылала свое благословение, но, между прочим, уведомляла, что она горько плакала от мысли, как несчастна была дочь ее, не имея для свадебного стола секретного яблочного пирожного и для брачной постели пуховиков гагачьих! Жанни улыбнулась и, зарумянившись, склонилась в объятия своего Виктора.

— А, а!..— сказал Саарвайерзен.— Два аршина с четвертью, видно, ты была счастлива и без яблочного пирожного.

ЭПИЛОГ

В 1822 году, под осень, я приехал в Кронштадт встретить моряка-брата, который должен был возвратиться из крейсера на флоте. Погода была прелестная, когда возвестили, что эскадра приближается. Сев на ялик у гостиного двора, я поехал между тысячи иностранных судов, выстроенных улицами, и скоро выпрыгнул на батарею купеческой гавани; она была покрыта толпою гуляющих; одни, чтоб встречать родных, другие, чтоб поглядеть на встречи. Ленты и перья, шарфы и шали веяли радугою. Веселое жужжанье голосов словно вторило звучному плеску моря; песни, стук, скрип блоков, нагрузка, оснастка по кораблям, крик спящих между ними лодочников и торговых — словом, вся окружная картина деятельности оживляла каждого какою-то европейскою веселостью. Только одни огромные пушки, насупясь, глядели вниз через гранит бруствера и будто надувались с досады, что их топтали дамские башмаки.

Увиваясь между пестрыми рядами, меняясь вопросами

со знакомыми, поклонами с полужнакомыми и приветствиями с пригоженькими, я был поражен необыкновенною красотою одной высокого роста дамы; она стояла на парапете, устремив глаза на приближающийся флот. Ветер, врываясь под соломенную ее шляпку, взвевал роскошные ее локоны и обдувал стройные формы стана,—но какого стана! Вы бы не спали три ночи и бредили три дня, если б я мог вам нарисовать его! Правой рукой держала она шелковый зонтик, а левую опирала на плечо мальчика лет осьми, миловидного, как амур. Он так нежно припадал к ней, она так ласково улыбалась ему, оба они составляли столь прелестную купу, что я загляделся и заслушался, хотя она не говорила ни слова. Есть возраст, милостивые государи, в который шум женского платья кажется нам очаровательною музыкою Эоловой арфы или даже, если вы имеете романтическое ухо, гармоникой сфер.

Я несколько раз вспрыгивал рядом с нею на парапет; шпоры мои бренчали на чугуне пушки, сабля исторгала искры из гранита, но все эти проделки не выманили у прекрасной незнакомки ни одного взора, ни малейшего внимания. Самолюбие мое было обижено до конца ногтей: имея тогда красные щеки, черные усы и белый султан, я полагал, что имею право по крайней мере на ласковый взгляд каждой женщины; но это подстрекало меня; я хотел упорством победить упорство и как бог Термин прирос вблизи, любуясь ее ножками, карауля взгляды и в отмщение наводя свою трубку на море.

Флот приближался как станица лебедей. Корабли катились величаво под всеми парусами, то склоняясь перед ветром набок, то снова подъямлясь прямо. Легкий передовой фрегат в версте от Кронштадта начал салют свой... Белое облако вырвалось с одного из подветренных орудий, другое, третье — и тогда только грянул гром первого. Дым по очереди салютующих кораблей долго катился по морю и потом тихо, величественно начал всходить, свиваясь кудрями. Едва отгрянул и стих гул последнего выстрела, ко-

рабли, по сигналу флагмана, стали приводить к ветру, чтобы лечь на якорь. Несколько минут царствовало всеобщее молчание. Внимание всех обращено было на быстроту и ловкость, с которою команды убирали паруса, что называется *на славу*, и вдруг заревела пушка с Кроншлота,— все дрогнуло; дамы ахнули, закрывая уши! Ответные семь выстрелов исполинских орудий задернули завесой дыма картину... Когда его пронесло, весь флот стоял уже в линии, и несколько шлюпок, как ласточки, махали крыльями по морю, спеша на радостное свиданье.

Адмиральский катер гордо пролетел сквозь купеческие ворота; за ним, как быстрая касатка, рассекала зыбь легкая гичка, с широкой зеленой полосой по борту. Статный штаб-офицер с двумя орденами на груди стоял в ней, сложа накрест руки, и хотя зыбко было его подножие, но он стоял твердо, будто на каменной плите.

— Это он, это твой папенька!..— вскричала радостно красавица, указывая малютке на шлюпку, и кинулась к пристани. Вспрынув опять на ограду, она простирала руки навстречу супруга; огонь нетерпения пылал в щеках ее; взоры ее лобзали уже милого гостя... И он увидел ее, увидел сына, которого подняла она в воздух, и, отверзши уста, упершись ногой в край шлюпки, чтоб перепрыгнуть на берег, он был живое изображение мужественной любви. Я забыл о стане, забыл об очах и кудрях прекрасной незнакомки: я любовался уже одной душою ее, я мечтал о завидной доле счастливца — ее мужа.

— Шабаш!— крикнул урядник, и весла ударились в лад об воду. Как сокол, складывающий крылья, чтобы сильнее ударить, сложились они, и два крюка словно когти возникли пред грудью...

— С какого корабля?— спросил часовой, между тем как шлюпка описывала быстрый полукруг.

— Фрегата «Амфитриды».

— Кто офицер?

— Капитан второго ранга Белозор!— отвечал урядник. Супруги уже лежали друг у друга в объятиях.

МОРЕХОД НИКИТИН

Быль

*A sail, a sail — a promised price to hope!
Her nation, flag? What speaks the
telescope?
She walks the waters like a thing of life
And seems to dare the elements to strife.
Who would not brave the battle fire,
the wreck,
To move the monarch of her peopled deck?*
Byron¹

В 1811 году, в июле месяце, из устья Северной Двины выходил в море небольшой карбас. Надо вам сказать, что в 1811 году в июле месяце, точно так же, как в настоящем 1834 году, до которого мы дожили по милости божией и по уверению календаря академии, старушка Северная Двина выливала огромный столб вод своих прямо в Северный океан, споря дважды в день с приливом, который самым бессовестным образом вторгался в ее заветные омуты и превращал ее сладкие, благородные струйки в простонародный рассол, годный разве для трески. Обязан я вам и объяснить по долгу литературной совести, что карбасом в те поры, как доселе, называлось судно шагов восемнадцать длинни-

¹ Корабль, корабль — надежда на приз! Какой он нации, под каким флагом? Что говорит зрительная труба? Он идет по волнам как одушевленный; он, кажется, вызывает на бой стихии. Кто побойтся огня, воды, чтоб только пройти властелином по этому многолюдному деку? Байрон (англ.).

ку, на шесть ширины, с двумя мачтами-однодревками, полушитое корнями, полусбитое гвоздями, из которых едва ль пятая часть были железные. Палубы на карбасе обыкновенно не полагалось, а на корме и на носу небольшие навесы образовали конурки, где, на кучах клади, только русская спина, и только одна спина, могла уютиться, скрутиться в три погибели. Вследствие чего, как вы сами усмотреть благоизволите, в середину судна белый свет и бесцветная вода, сверху и снизу, справа и слева, могли забегать и проживать безданно, беспошлинно. Посудина эта, или, выражаясь учтивее, этот корабль,— а слово «корабль», заметьте, произвожу я от «короба», а короб от «коробить», а коробить от «горбить», а горб от «горы»: надеюсь, что это ясно; какие-то подкидыши этимологи производят «корабль» от какого-то греческого слова, которого я не знаю, да и знать не хочу, но это напраслина, это ложь, это клевета, выдуманная каким-нибудь продавцом грецких орехов; я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских корнях, за исключением биквадратных, которые мне пришлось не по зубам, а потому, за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю,— итак этот корабль, то есть этот карбас, весьма походил на лодию, или ладью, или лодку древних норманнов, а может статься, и аргонавтов, и доказывал похвальное постоянство русских в корабельной архитектуре, но с тем вместе доказывал он и ту истину, что мы с неуклюжими карбасами наследовали от предков своих славено-русов отвагу, которая бы сделала честь любому hot pressed, силой завербованному моряку, танцующему под свисток tap of war¹ на лощеной палубе английского линейного корабля, или спесивому янки, бегущему крепить штын-болт по рее американского шунера².

Да-с! Когда вздумаешь, что русский мужичок-промыш-

¹ Военный (англ.).

² В насмешку англичане называют североамериканцев yan Kее.

ленник, мореход, на какой-нибудь щепке, на шитике, на карбасе, в кожаной байдаре, без компаса, без карт, с ломтем хлеба в кармане, плавал, хаживал на Грумант,— так зовут они Новую Землю,— в Камчатку из Охотска, в Америку из Камчатки, так сердце смеется, а по коже мурашки бегают. Около света опоясать? Копейка! Послушайте, как он говорит про свои странствия, про которые бы французы и англичане и в песнях не напелись и в колокола не назво-нили, и вы убедитесь, что труды и опасности для него игрушка. «Забрались мы к Гебрицким да оттуда *на перевал* в Бразилию, в золотое царство махнули. Из Бразилии *перетолкнулись* в Камчатку, а оттоль ведь на Ситку-то *рукой подать!*» Вот таких удальцов подавай мне,— и с ними хоть за живой водой посылай! Океан встрелся? Океан шапками вычерпаем! Песчаное море? Как тавлинку, вынюхаем! Ледяные горы? Вместо леденца сгрызем! Где ж это сударыня Невозможность запропастилась? Выходи,— авось на подметки нам пригодится! Под кем добрый конь авось-масти, тому лес не лес, река не река: куда ни поскачут — дорога, где ни обернется — простор. На кита?— так на кита — экая невидаль! Зубочисткой заострожим! На белого медведя? щелком убьем; а в красный час и лукавый под руку не подвертывайся. Нам уже не впервые на зубах у него гвозди ковать, в нос колечко вдевать. Правду сказать, русак тяжел на подъем; раскатать его трудно; зато уж как пойдет, так в самоходах не догонишь. Куда лениво говорит он первое «ась?». Но когда после многих: «Да на что мне это! Да к чему мне это! Живем и так; как-нибудь промаячим!» — доберется он до «нешто, попытаем!» да «авось сделаем», так раздайтесь, расступитесь: стопчет и поминай как звали! Он вам перехитрит всякого немца на кафедре, разобьет француза в поле и умудрится на заводе лучше любого англичанина. Не верите? Окунитесь только в нашу словесность, решитесь прочесть с начала до конца пламенные статьи о бессмертных, часах с кукушкой, о влиянии родимых макарон на нравственность и о воспитании виргин-

ского табаку, статьи столь пламенные, что их невозможно читать без пожарного камзола из асбеста,— и вы убедитесь, что литературные гении — самотесы на Руси так же обыкновенны, как сушеные грибы в великий пост, что мы учение ученых, ибо довелись, что науки вздор; что пишем мы благонравнее всей Европы, ибо в сочинениях наших никого не убивают, кроме здравого смысла.

Но к делу. В 1811 году еще ни один пароход не пугал своими шумными колесами рыбный народ в реках русских, и потому двинские рыбки безбоязненно высывали головки свои, чтобы полюбоваться на вороной как смоль карбас и тех, которые им правили. Вот физиологические подробности, полученные мною от одной из очевидиц, шук: несмотря на архангелогородскую соль и непривычное ей путешествие в розвальнях, слог этой шуки так цветист, как будто бы она кушала сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок; должно думать, что предметы, отражаясь в тысяче граней рыбьих глаз, производят необыкновенное разнообразие впечатлений в их мозге; образчик прилагается в подлиннике.

Река,— рыбы всегда начинают речь с своего отечества, с своей стихии: благоразумные рыбы! в этом они нисколько не следуют сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее,— река чуть струилась; корабль катился быстро, напутствуемый теченьем и ветром; пологие берега незаметно текли мимо его, и если б кой-где стоящие на якорях суда не оказывали бега судна, как поверстные столбы, то пловцы в карбасе могли бы подумать, что они неподвижны: столь однообразно-пусты, так безмолвно-мертвы были окрестные тундры. Тогда еще не видно было на берегах Двины сахарных и канатных заводов, и ни одна верфь не готовила бросить в воду юных скелетов корабельных, еще не одетых дубовою плотью. На всем пространстве от Соломбола до устья не встретилось им ни одной живой души, хотя разноцветный мох подернут был оранжевою ягодой морошки...

— Отличное противоскорбутное средство! — замечает мой приятель, медик. — Природа помещает всегда противудие вблизи яда; как мне известно, морошка составляет теперь отрасль торговли Придвинского края: ее для английского флота вывозят тысячами сороковых бочек.

...Морошки, раскинутой причудливыми узорами, подобно фате северной красавицы...

— Лучше бы сказать, подобно русскому ситцу, — говорит один женатый помещик, — потому что русские ситцы-самоделки точь-в-точь морошка по болоту.

Рыба сморкает нос и продолжает:

Только одинокий журавль, царь пустыни, бродил там, как ученый по части зоологии...

Он, — то есть журавль, а не ученый, — втыкал нос в мутную воду, в жидкий ил и, вытащив оттуда какого-нибудь червячка или пескаря, гордо подымал голову. Оглянувшись на карбас, он рассчитал глазомерно расстояние и, уверившись, что находится вне выстрела, погнался за резвою лягушкою, беспечно кивая хвостиком. Он нашел лягушку гораздо занимательней людей.

И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения. «Лягушек не лягушек, — скажет он, — а что устриц я всегда предпочту людям! Во-первых, древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненное Несторовой, так что сам барон Кювье не отыскал пятна в их предпотопной генеалогии; во-вторых, они постояннее китайцев в своих мнениях: родятся себе и умирают у скалы, к которой приросли, и с доброй воли не делают фантастических путешествий; и, в-третьих, не заводят в старом море юной литературы».

Судя по хладнокровию или, лучше сказать, по беспечности, с какою четверо мореходцев, составлявших экипаж карбаса, пускались в шумный бурун, образованный борьбою речной воды с напором возникающего прилива, их можно было бы зачислить в варяжскую дружину, не подводя под рекрутскую меру. На руле сидел здоровый молодец лет два-

дцати семи: волосы в кружок, усы в скобку, и бородка чуть-чуть закружилась, на щеках румянец, обещавший не слинять до шестидесяти лет, с улыбкой, которая не упорхнула бы ни от девятого вала, ни от самдевятой сатаны,— одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное; физиономия настоящая северная, русская.

По одежде он принадлежал к переходным породам. На голове английская пуховая шляпа, на теле суконный жилет с серебряными пуговицами; зато красная рубашка спускалась по-русски на китайчатые шаровары, а сапоги, по моде, сохранившейся у нас со времен Куликовской битвы, загибали свои острые носки кверху. По самодовольным взглядам, которые бросал наш рулевой на изобретенный им топсель, вздернутый сверх рейкового паруса, он принадлежал к школе нововводителей. У средней мачты, в парусинной куртке и в таких же брюках, просмоленных до непроницаемости, сидел старик лет за пятьдесят, у которого благословенная борода была в явном разладе с кургузым матросским платьем: явление, странное всегда и нередкое до сих пор. Издавна ходил он по морям на кораблях купца Брандта и компании, но напрасно уговаривали его хозяева обрить бороду. Ураганы могли терзать ее, море вцеплять в нее свои ракушки, вкраплять соляные кристаллы, случай заедать в блок или в захлест каната, но владелец ее был непоколебим ни насмешками юнгов, ни ударами судьбы. Он не возлагал даже на нее постригала, и она в природной красе, во весь рост расстилалась по груди и по плечам упряма. Дядя Яков, так звали этого чудака, сидел на бочонке русского элемента, квасу, и сплескивал, то есть сращивал, веревку. У ног его почти лежал молодой парень лет двадцати, упершись ногою в борт и придерживая руками шкот, угловую веревку паруса. По его свежему лицу, по округлым, еще не изломанным опытностью чертам, по любопытству, с каким поводил он вокруг глазами, даже по неловкости его, больше чем по покрою кафтана, можно было удо-

стовериться, что он не просоленный моряк-новобранец, только что из села.

На носовом помосте лежал ничком, свеся голову за борт, коренастый мореход с физиономией, какие отликает природа тысячами для вседневного расхода. Не на что было повесить на ней никакого чувства, а мысль, будь она кована хоть на все четыре ноги, не удержалась бы на гладком его лбу. Он поплеывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал: «Ох, не одна! Эх, не одна!» — и опять поплеывал. Он принадлежал к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом, — работать, когда нужно, спать, когда можно.

Молодой человек, сидевший на руле, был полный и законный хозяин карбаса, вместе с грузом, и временный командир, капитан или воевода дяди Якова, Алексея, племянника по его сердцу, и неизбежного Ивана по сердцу всему свету. Оставшись сиротою на двенадцатом году возраста, он, как большая часть удалых ребят Архангельской губернии, нанялся юнгою на английский купеческий корабль и мыкался бурями и волнами до двадцати двух лет, имея удовольствие получать щелчки от шкиперов всех наций и побранки на всех языках. Наскучив бесприютною жизнью матросскою, он пристал к истинно почтенному классу биржевых артельщиков, людей испытанной честности, трезвых, деятельных, смысленных, и потом взят с хорошим жалованьем в контору одного из богатейших иностранных купцов Архангельска. Через шесть лет он был уже в состоянии покинуть чужое гнездо. Его томила охота отведать своего счастья, поторговать на свое имя, — и вот он купил и снарядил карбас, — и вот он теперь уже в пятый раз, в другое лето, пускается в море.

Впрочем, никогда еще Савелий Никитич — это было его имя — не пускался в море с таким запасом веселости, как этот раз. Причину тому я знаю, — да и чего я не знаю? — не хочу таить ее за душой. Он — в добрый час молвить, в

худой помолчать — задумал жениться. Дочь его соседа, также архангельского мещанина, как он сам, Катерина Петровна, прелестная, как все Катерины вместе, и миловидная, как ни одна из Катерин, до сердца приглянулась нашему плавателю. Его воображение, изощренное морским воздухом, и во сне ничего не грезило свежее, умнее и достойнее этой русокой красавицы. Ему всего более понравилось, что она порядком отбояривала от себя молодых флотских офицеров, которые, сверх обязанностей по службе, берут на себя образование молодых девушек во всех портах пяти частей света. Одним словом и наконец, он, раскинув умом-разумом, подвел итоги своих карманов, пригладил голову кваском и, благословясь, пошел сватать свою зазную к отцу ее. С самой Катериной Петровной он, должно быть, давно стакнулся; и хоть я не был свидетелем, да уже на свой страх говорю вам, что молодежь моя променяла между собой не одну клятву любви и верности с приложением взаимных поцелуев. Как быть, милостивые государи! В торговле всегда есть контрабанда, в сватовстве — потаенные сделки.

Савелий расчувствовался; упал на колени перед отцом Катеньки, просит благословения.

Старик отец погладил его по голове и поднял; погладил себя по бороде и сказал:

— Послушай, Савелий Никитич! Ты добрый человек, ты смысленый и честный парень: спасибо, что пришел ко мне прямо, без свах, и тебе я скажу прямо, без обиняков: ты мне по душе, я не прочь породниться с тобою; однако...

Ох, уж мне это «однако» вот тут сидит, с тех еще пор как учитель хотел было, по его словам, простить меня за шалость, однако высек для примера; с тех пор как мой искренний друг и моя вернейшая любовница клялись мне в привязанности и за словом, однако, надули меня... Однако ж оставим это «однако».

Савелий, не смеядохнуть, стоял перед стариком, высматывал глазами догадки из его лица, но слово «однако», про-

изнесенное с такою расстановкою, что между каждым слогом уложиться могло по двадцати сомнений, распилило его сердце пополам, и опилки брызнули во все стороны.

— Од-на-ко (после ко две черточки), — произнес старик и почесал в затылке, потому что затылок есть чердак человеческого разума, в который сваливают весь хлам предрассудков, всю ветошь нравоучений, колодки давно стоптанных мнений и верований, бигые фляжки из-под воображения; или, лучше сказать, он — гостинодворская темная задняя лавка, в которую обыкновенно заводят приятеля-покупателя, чтобы сжить с рук полинялый, староманерный товар. — Однако, Савелий Никитич! ведь не мне жить с тобой, а дочери, а за ней приданое не богато. Я и сам с копейки на копейку перепрыгиваю. Рад бы душой, да кус небольшой: у меня же сыновья подростки. Опять, и дочери своей мне не хочется видеть в нужде, лучше заживо в землю закопаться. Впрочем, вокруг Катеньки, сам ты известен, женихи словно хмель увиваются.

«Пропала моя головушка!» — подумал Савелий.

— Не в укор тебе будь помянуто — покойник батюшка твой сидел в лавочке, да выехал из ней на палочке: благодаря мичманам проторговался, поплатился добром за свою простоту и пустил тебя круглым сиротою кататься словно медный грош по белу свету. Не осуди, брат Савелий! Имя твоё знаю я, отчество знаю, а животов не знаю. Скажи мне как на духу: есть ли на что у тебя хозяйством обзавестись, да себе на прожиток и детям на зубок придобыть?

Савелий вытащил бумажник, показал ему свои аттестаты, выложил тысячу рублей чистогану, да еще тысячи на полторы квитанций купленным товарам: это для мещанина не безделица.

— Притом я имею суднишко и кредит, — сказал он, — ношу голову на плечах и благодаря создателя не пустоголов, не сухорук. Прошлый год я выгодно продал в Соловках свои товары, был там и по весне; да если с тобой поладим, так с жениной легкой руки в спасово заговенье опять пу-

щусь. Что ж, Мироныч: аль другие-то лучше меня? Позволь!

— Ну, Савелий, руку! Только свадьбе быть после спаса. Ты наперед съездишь в Соловки да соберешь копейку на обзаводство; а то с молодой женой ростаням конца не будет. Не поперечь мне, Савелий, у меня слово с заклепом.

— Это очень хорошо! — сказал Савелий. «Это очень плохо!» — подумал Савелий.

Но делать было нечего: довелось согласиться на отсрочку. Благословили образом, обручили, а между тем, покуда подружки-голубушки шили Кате приданое да пели, — между тем, как отец и мать ее пили да плакали, карбас Никитина снарядился и нагрузился. Минута разлуки была уже за плечами, уж на плече, уж расправляла крылья, чтоб улететь, а наши милые или, как выражаются архангелогородцы, «бажонные», обрученники о том и думать не думали. Дядя Яков принужден был вытащить жениха от невесты волоком. Попутный ветер казался ему самую противною погодой; но ветер пересилил любовь. Савелий выпил последнюю каплю наливки, сорвал последний поцелуй с губок невесты. Сладка ему была капля, поцелуй еще слаще; век не расстаться бы с ними, однако он расстался. Ему надо было спешить уехать, чтобы поспешнее приехать. Он прыгнул в карбас, цепь с громом скользнула со сваи, карбас отчалил.

Долго стояла Катя на набережной, провожая глазами суженого, махая белой рукой; сердце ее вещевало не на доброе; она залилась слезами и пошла домой, вытирая их миткалевым рукавом своей сорочки. С Савельем было не лучше: покуда видна была Катя, он оглядывался, до того, что чуть шеи не вывихнул, а потом взгляды его ныряли в воду, словно он обронил туда свое сердце, словно он с досады хотел ими зажечь струю-разлучницу. И наконец, переполненный горечью сосуд пролился: слезы брызнули из глаз бедняги в три ручья, — и именно в три, потому что две струйки сливались у него на носу и катились вниз рекою, точь-в-точь как Юг и Сухона образуют Северную Двину. Это, однако же, облегчило Савелья; он отдохнул; доброе

солнышко так весело взглянуло ему в очи, что он улыбнулся; ветер спалнул и высушил даже следы слез; вот и надежда-летунья начала заигрывать с его душою. И чего, в самом деле, доброму молодцу было печалиться? Впереди его — золото, назади — любовь!.. Правда, между этими оконечностями лежали две бездны моря, усаженные опасностями от бурь и каперов, — тогда с англичанами была война, — да ведь бог не без милости, казак не без счастья: не в первый раз ему было с морем переведываться. Пять часов пути и шестьдесят верст расстояния прокрались мимо, как беглецы, и вот почему наш Савелий так беззаботно, так весело пускался в бурун, разграничивающий соленую воду от пресной.

И шибко, со всего разбегу, ухнул острогрудый карбас в бой шумящего, плещущего бара, — так шибко, что брызги засверкали и рассыпчатая пена обдала пловцов с головы до ног. Карбас черпнул. Испуганный, облитый Алексей выпустил шкот из рук своих; парус заполоскался, карбас возник, взбежал на хребет вала и мигом, стремглав, промкнул сквозь водяную гряду. Чрез пять минут он гоголем плыл уже по морю, которое с ропотом наступало на берега.

— Что, Алексей, — спросил новобранца Савелий, усмехаясь, — аль тебе не любы крестины морскою водою?

— Хороши, — отвечал Алексей, вытирая лицо, — только без каши и крестины не в крестины.

— Погоди, брат Алеша, мы тебя в соленой купели купаем. Тогда уж с веслом и за кашу посадим тебя, — помеси, да и в рот понеси, — кушай да похваливай. Захочешь ли браги — брага у нас шипучка; зелено вино с пенкой некупленные, немереные — пей, сколько в душу войдет.

— Спасибо на ласке! Подноси сперва старшим, дядюшка, — лукаво отвечал Алексей.

— Ты в море гость, мы хозяева, — сказал Савелий, — а гостей потчуют не по летам.

— Однако, — молвил дядя Яков, оглядывая в дозор небосклон, — не придержать ли нам на вечер-то вдоль берега?

Что-то очень парит: словно пыль пылит над тундрой. Подымется, не ровен час, разыграй-царевич — так и нам в открытом море без беды беда придет.

— Волка бояться — в лес не ходить, дядя Яков! — возразил Савелий. — Ветер, словно клад, не во всякую пору дается: упустим его — так трудно будет на него карабкаться после. А когда теперь на норд-норд-вест заберемся, так уж по ветер-то как по маслу скатим в Соловки, когда вздума-ется. Небо чисто.

— Нешто! — сказал дядя Яков и принялся доплетать узел веревки.

— Вестимо, так! — сказал Алексей, как будто что-нибудь понял, и принялся зевать в обоих значениях этого слова. Иван не рассуждал и не говорил: он поплеывал в море. Савелий по привилегии, данной всем людям, у которых звенит что-нибудь в голове или в кармане, строил воздушные замки. Карбас, пятое действие нашей драмы, покачиваясь с боку на бок, изволил плыть да плыть в необъятное море.

День шел в гости к вечеру. Прибрежье никло; островок Мудюг, стоящий на часах у входа в Двину, окунывался и опять выглядывал, и опять окунывался в воду. Скоро земля слилась в темную полосу, в черту, едва видную; вал заплеснул и эту черту, — прощай, моя родина! Бездонное небо, безбрежное море обнимает теперь утлое судно. Только вольный ветер да рыскающие волны напевают ему в лад свою вечную, непонятную песню, возбуждая думы неясные о том, что было и что будет, о том, чего никогда не было и никогда не будет.

Не знаю, случилось ли вам испытать чувство разлуки с родным берегом на веру зыбкой стихии. Но я испытал его сам; я следил его на людях с высоконастроенною организациею и на людях самых необразованных, намозолненных привычкою. Когда почувствуешь, что якорь отделился от земли, мнится, что развязывается узел, крепивший сердце с землею, что лопают струна этого сердца. Грудь становится больно и легко невообразимо!.. Корабль бросается в бег;

над головой вьются морские птицы, в голове роятся воспоминания, они одни, гонцы неутомимые, несут вести кораблю о земле, им покинутой, душе — о былом невозвратном. Но тонет и последняя альциона в пучине дали, последняя поминка в душе. Новый мир начинает поглощать ее. Тогда-то овладевает человеком грусть неизъяснимая, грусть уже неземная, не земная, но еще и не вовсе небесная, словно отклик двух миров, двух существований, развитие бесконечного из почек ограниченного, чувство, не сжимающее, а расширяющее сердце, чувство разъединения с человечеством и слияния с природою. Я уверен, оно есть задаток перехода нашего из времени в вечность, диез из октавы кончины.

И неслышно природа своей бальзамическою рукою стирает с сердца глубокие, ноющие рубцы огорчений, вынимает занозы раскаяния, отвечает прочь думы-смутницы. Оно яснее, хрустает, — как будто лучи солнца, отразясь о поверхность океана и пронзая чувства во всех направлениях, передают сердцу свою прозрачность и блеск, обращают его в звезду утреннюю. Вы начинаете тогда разгадывать вероятность мнения, что вещество есть свет, поглощенный тяжестию, а мысль, нравственное солнце, духовное око человека, сосредоточивая в себе мир, есть вещество, стремящееся обратиться опять в свет посредством слова. Тогда душа пьет волю полною чашею неба, купается в раздолье океана, и человек превращается весь в чистое, безмятежное, святое чувство самозабвения и мироневедения, как младенец, сейчас вынутый из купели и дремлющий на зыби материнской груди, согретый ее дыханием, улелеянный ее песнью. О, если б я мог вымолвить у судьбы или обновить до жизни памятью несколько подобных часов! — я бы...

«Я бы тогда вовсе не стал читать ваших рассказов», — говорит мне с досадою один из тех читателей, которые непременно хотят, чтоб герой повести беспрестанно и бессменно плясал перед ними на канате. Случись ему хоть на миг вывернуться, они и давай заглядывать за кулисы, забегать

через главу: «Да где ж он? Да что с ним случилось? Да не убит ли он, не убит ли он, не пропал ли без вести?» Или, что того хуже: «Неужто он до сих пор ничего не сделал? Неужто с ним ничего не случилось?»

«Я бы вовсе не стал тогда читать ваших рассказов, г. Марлинский, потому что — извините мою откровенность — я уже не раз и не втихомолку зевал при ваших частых, сугубых и многократных отступлениях. Хотя бы вы за наше терпение перекувыркнули вверх дном этот проклятый карбас, который ползет по воде, как черепаха по камням. Так нет, сударь: всплыл, как всплыл. Думаем, вот сцапает он Савелья за вихор, минуя брандвахту, и откроет в нем какого-нибудь наполеоновского пролаза или морского разбойника. Не тут-то было! Вместо происшествий у вас химическое разложение морской воды; вместо людей мыльные пузыри и, что всего досаднее, вместо обещанных приключений ваши собственные мечтания».

Я ничего вам не обещал, милостивый государь, говорю я с возможным хладнокровием для авторского самолюбия, проколотого навывлет, — самолюбия, из которого еще каплет кровь по лезвию насмешки. Ваша воля — читать или не читать меня; моя — писать как вздумается.

«Но, милостивый государь, я купил рассказ ваш».

Я не приглашал вас; не брал вас с учтивостью за ворот, как это делается в свете при раздаче лотерейных билетов или билетов на концерт для бедных. Вы купили рассказ мой и можете сжечь его на раскурку, изорвать на завивку усов, употребить на обертку ваксы. Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, — я вас предупреждаю. Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да, верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повод и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, замечает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрынул через ограду, переплыл за реку —

хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскочил по простору, целиком, до усталости. Надоели мне битые укаты ваших литературных теорий *chaussées*¹, ваши вековые дороги из сосновых отрубков, ваши чугунные ленты и повешенные мосты, ваше катанье на деревянной лошадке или на разбитом коне, ваши мартингалы, шлих-цигели и шпаниш-рейтеры; бешеного, брыкливого коня сюда! Степи мне, бури! Легко я мечтами — лечу в поднебесье; тяжко ли думами — ныряю в глубь моря...

«И приносите со дна какую-нибудь ракушку».

Хоть бы горсть грязи, милостивый государь. Она все-таки будет свидетельницей, что я был на самом дне. Для купца дорог жемчуг; естествоиспытатель отдает свой перстень за иную подводную травку. Что прибавит жемчужина к итогу счастья человеческого? А эта травка, может быть, превратится в светлую идею, составит звено полезного знания. Желая знать: купец вы или испытатель?

Читатель мой дворянин, не только личный, но, может стать, двуличный, наследственный: он никак не хочет назваться купцом. Опять он терпеть не может и естествоиспытателей всех родов, которые пластают, потрошат природу, рассекают мозг, и сердце, и карманы человеческие вживе, будь они хоть пятого класса, и ловят там насекомые мысли, пресмыкающиеся чувства. Да мало того, что они нашлапывают все это на остроумие и выставляют на благорассмотрение почтеннейшей публики; они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду как золото, впиваются в души как лезвие и потом — милости прошу! — все ваши тайны вынесены уж на толкучий.

«Нет, я не купец, не испытатель, — говорит он, — я просто читатель».

Я кладу свои замечания в ум ваш, как свои деньги в ломбард: на имя неизвестного!

¹ Гладких (фр.).

Вот это по крайней мере ясно и неоспоримо. Не надейтесь же получить более четырех, законных, процентов,— и этого вам за глаза. Правда, я веду слово про архангельского мещанина Савелия Никитина и ручаюсь, что для русского анекдот этот будет занимателен, по тому уж одному, что он не выдумка. Но кто вам сказал, что сам я менее занимателен, чем Савелий Никитин? Знаете ли, сколько страстей перемолол я своим сердцем? какие чудные узоры начеканил мир на моем воображении? И если б я вздумал перевести с души на ходячий язык свои опыты, мечты и мысли, вы, вы сами, сударь, нашли бы эти записки занимательными не менее «записок» Трелонея или «Последней нескромности современницы».

«Ради Смирдина, сделайте это поскорее, любезнейший! И тисните в большую осьмушку с готическим заглавием и с виньеткою Жоанно. Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно в роде Видока. Даете вы слово? Скажите ж — да! Полноте упрямничать: снимите долой лень свою!..»

У нас печатная сторона человека всегда будет походить на подкладку из одних афиш комедианта Цапата в «Жиль-блазе»; и вот почему, милостивый государь, если вы хотите узнать меня, то узнавайте кусочками, угадывайте меня в стружках, в насечках, в сплавке. Не мешайте ж мне разводить собою рассказы о других: право, не останетесь в накладе.

Я поднимаю спущенную петлю повести.

Савелий сидел задумавшись на руле. Сердце его то вздувалось, как парус, то опадало, как волна. Чувство беспредельности завладело им, и тогда на вопрос: «о чем ты думаешь?» — он мог бы отвечать: «ни о чем!» по всей правде, потому что все мысли, все ощущения в такие часы подобны каплям, вдруг улеченным в безвидные пары: они разливны, смешаны, безграничны. Товарищи Савелья больше или менее погружены были в такое же безотчетное, немое созерцание и внимание природы в себе, и себя в приро-

де; в чувство сознания, неразлучного событию, доступное, как я думаю, всем животным.

Наконец племянник дяди Якова, который, по всей вероятности, неохотно расстался с избой своей, и косой своей, и косой своей любушки, с горелкой, и с горелками, первый сломал общее молчание.

— Эка притча, подумашь ты! Ухитрился же человек в корыте по морю плавать, бога искушать! Аль земля-то клином сошлась? Аль на земле угодьев ему не стало?

— Молчал бы ты, молчал,— возразил с досадою дядя Яков.— Коли в мореходы пошел, так по земле нечего тужить! Земля! Эка невидаль! Видишь, что выдумал!

— Право, дядя Яков, не я ее выдумал.

— Тебе ль ее выдумать, когда ты об ней и подумать-то путем не умеешь! Земли-то у нас много, да в земле мало: за неволю пришлось рулем море пахать. Небось, любишь ты и крупчатик съесть, и синий кафтан натянуть, и почаевать порой: а разве тонкое сукно да сахар у нас на березах растут? Ась? Вот и плывут удалые головы за море, по красный товар. В лес не съездишь, так и на полатях замерзнешь.

У глупцов голова ни дать ни взять азиатский каравансарай: голые стены без хозяина. Мысли приходят в нее, неизвестно откуда; уходят, незнаемо куда. Слово «море» пролетело сквозь уши Ивана и спустило пружину песни. В голове его ничего не было, кроме песен: он затянул:

За морем синичка не пышно жила;
Не пышно жила, пиво варивала,
Солоду купила, хмелю взаймы взяла.

В свою очередь, слово «пиво» чудным сцеплением идей пробудило в Алексее пивное воспоминание, и он, вытирая мечтательную пену с губ своих, сказал:

— Знаешь, ли что, дядя Яков! в иную пору мне бы и в ум не впало тужить по родине, а теперь у нас в деревне

праздник на дворе; так если б. удалось престолу свечку поставить,— повиднее бы в море пускаться.

— Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, а печка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охота разбирает. Старики не даром сложили пословицу — кто на море не бывал, досыта богу не моливался. Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках молись — не хочу. Добрые люди с краю земли туда пешком ходят на богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать,— чудотворцам Зосиме и Савватию поклониться, к мощам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины,— взглянь, так шапка долой; толщины,— десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали: человеку ни вздумать, ни сгадать, не то что бы руками поднять такое беремья.

— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?

— В том-то и диво, что не утес. Берег, как Двинской: песок где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей, словно пены; под божьею тенью рай для них. Никто их не бьет, не пугает, сердечных. У самых ворот журавли на одной ножке стоят, дикие утята полощутся, и усатые киты играют, со стен подачки дожидаются.

— А что, дядя Яков, кит-рыба, примером сказать, ростом, дородством будет с царский корабль?

— Кит киту розь,— преважно отвечал дядя Яков.— Есть сажен в десять, есть сажен в двадцать: да это на нашем веку так они измельчились. В старину то ли было! Лет два сорока тому назад, в страшную бурю, прошел мимо Соловецкого кит,— конца не видать; разыгрался он хвостом, хвост-то вихрем и вздуло, как парус: не может кит хлеснуть им об воду. А хлеснул бы он, затопил бы низменный остров, залил бы монастырь с колокольнями. Отец архимандрит со всеми старцами целую ночь напролет слезно молились:

«пронеси, господь, мимо кита-рыбу! Не дай ей ударить ошибом по морю!» И отмолили беду неминучую: к утру кит провалил мимо, гроза утишилась. Даже в Архангельске слышно было, когда приударили на Соловках с радости в огромные глиняные колокола.— Ну, слава богу!— сказали,— жива обитель преподобных Савватия и Зосимы!

— А что, эти глиняные колокола-то обожженные, али из сырца?— с недоверчивостью спросил Алексей.

— Не сподобил бог видеть самому: только пономарь мне сказывал, что они до сих пор в тайнике висят, а как благовестить в них станут — заслушанье: что твои райские птицы поют! Да ты сам обо всем расспросить можешь: к восходу солнышка мы станем в Соловки.

— Если станем!— молвил Алексей.

— А с чего бы нет? Сто двадцать верст спустя рукава перемашем.

— Не хвались, дядя Яков,— сказал Савелий,— а лучше насвистим-ка погодку; видишь, ветерок-то стих, перепал.

Покорный общему суеверию моряков, дядя Яков принялся свистать, как свишут коням на водопой. И в самом деле ветер порхнул, будто дожидался приглашения; засвежел, скрепчал скоро. Зыбь раскатывалась грядами, гряды сшибались в крутые валы, и, наконец, море дало гул, подобный гулу, предшествующему вскипению воды в огромном котле. Солнце садилось в огненных тучах, весь запад кипел, будто кровью,— верная примета непогоды; когда ж горизонтальные лучи переломлялись в прозрачной синеве, в переливной зелени вала, он сквозил как стекло, он вспыхивал, как туча, молнией, и гас, и темнел, и обрушивался, подавленный другими.

Савелий, принужденный придержать к ветру, чтоб не зарыскнуть далеко в океан, в упор налегал на румпель. Дядя Яков с Иваном держали на руках шкоты зарифленного (уменьшенного) грота. Алексей, бледный как саван, сидел, уцепившись за борт, и с ужасом смотрел на хлещу-

щие в бок судна валы. Ему казались они чудовищами, которые заглядывают в карбас, чтобы схватить и сожрать его.

— Глянь-ка, глянь, дядя Яков!— сказал он.— Валы-то за нами вперебой гонятся. Страсть, да и только!

— Аль тебе дивно, что валы-старички расплясались. Да, брат, они скоро сами седеют, скоро и нашего брата седым делают. Ты не смотри на их пляску, а то как раз голова закружится.

— И впрямь так!— примолвил Савелий.— Чем глазеть на валы, возьми-ка, Алеша, лейку да отчерпывай воду: вишь, то и знай поддает. Ну, дядя Яков! напрасно я тебя не послушал: придержать бы к берегу, а то меня и в хорошую погоду знакомые отпевали, чуть я сберусь в море на карбасе, а в такую свалку, если б знал да гадал, я бы и сам трезвый не пустился. Посмотри на облака: словно недобрые люди бродят вокруг да около и промеж собой перемолвливают, куда бы на разбой стрекнуть.

— Чего доброго,— сказал дядя Яков,— пожалуй, и до нас доберутся, а у нас ворота настежь. Долга нам будет эта ночь!!

И ночь задвинула небо тяжкими тучами, и тучи всплескивались, как волны, и море забушевало, как небо. Вихорь спирал, возметал, разбрызгивал пары и волны. То черные облака разевали огненную пасть свою, зияющую жалом молний, то белогривые валы, рыча, глотали утлое судно и снова извергали его из хляби. В карбасе едва успевали отливать. Паруса уже были убраны, но шквалы хлестали его так сильно, что нагие мачты трещали; он летел, как бешеный конь, и каждую минуту пловцы наши ждали — вот-вот зароется в воду! И вдруг разразился над ними удар грома: огонь ливнем рухнул во все трещины лопнувшего свода небес, и в тот же миг вздутый порывом вал ударил в корму. Карбас пил смерть; миг был ужасный. Пловцам показалось — их окатил огненный водопад сверху и снизу; они закрыли ослепленные глаза, чтобы не открывать их навеки.

Савелий с криком: «Господи, прими мою душу!» — выпустил румпель. Алексей уронил лейку...

— Теперь молись! — сказал ему дядя Яков.

Один только Иван не бросил работы: сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решете приплыла,
Веретенами гребла, юбкой парусила.

Савелий не хотел умереть, потому что собирался пожить; Алексей — потому что не успел пожить; дядя Яков — потому что не готов был умереть. Но что значила смерть, что прошлое и будущее для Ивана? Он не имел, на чем свесить этих загадочных мыслей. Он покинул бы свет точно так же, как и вошел в него, — без малейшего произвола или сожаления. Счастливцев Иван! Не отбил бы я у тебя твоей жизни, но твоей смерти позавидовал бы. Кто, отваливая в гробу от жизни в вечность, не оглянется назад со вздохом, не взглянет вперед с сомнением, если не с ужасом?.. А он тонул и пел!

И поверите ли? когда стих гул громового удара в душах пловцов, они расхохотались песне Ивана и смеялись долго, смеялись наперерыв, будто в припадке. Разгадайте теперь сердце человеческое! Оно скорее всего дает смех в минуты самой жестокой скорби и ужаса! Я это видел и испытал.

Буря издохла с последним ударом своей ярости. Ветер упал вдруг. Природа как человек или, лучше сказать, человек как природа в свое лето вспыхив и бурен — на миг. Облака будто растопились молнией в дождь, и месяц, купавшись в туче, весело блеснул в теме неба; лишь на краю горизонта толпились беглецы облака. Они улетали, ропща, огрызаясь, и порой вспыхивали их выстрелы зарницею; валы смывали отсталых; валы еще ходили и сшибались грозно между собою, как ратники иных народов после войны со врагами заводят междоусобия в отчизне, чтобы утолить свою кровавую жажду хоть из жил братий и до-

тратить на них боевой огонь, раздутый привычкою. Но скоро волны разлились в широкую зыбь, и по ней зазмеились белые полосы пены, недавно венчавшей гребни валов. Они тянулись, подобно строкам на мрачной, бесконечной странице моря, подобно следам поколений на океане жизни. Исчезла самая пена, и синева бездействия подернула лицо моря. Оно дышало уже тяжело и прерывисто, подобно умирающему, и, наконец, к утру душа его излетела туманом, как будто преображая тем, что все великое на земле дышит только бурями и что кончина всего великого повита в саван тумана, непроницаемый равно для деятеля, как для зрителя.

Светало.

Аргонавты наши из несомненной смерти попали в смертельное сомнение, и хотя при этой верной оказии убедились они, что выражение любовников и подсудимых, будто сомнение хуже смерти, не совсем справедливо, однако ж положение их было вовсе незавидное. Карты нет, компаса не бывало. Да и на кой черт перед ними раскладывать карту, когда нет умения разбирать ее? Один русский шкипер-мореплаватель на вопрос: «Разве у вас нет карт?» — с простодушием отвечал: «Были, батюшка, и золотообрезные, да ребята расхлестали, в носки играючи!» Компас — иное дело; Савелий знал, как с ним посоветоваться: да та беда, что в свадебных попыхах забыл его дома! Как быть? Ветер вчерась гонял их то вправо, то влево, вертелся, как бес перед заутреней, и перетасовал все румбы и умы наших пловцов в такой баламут, что сам Бюффон со своею теориею ветров проиграл бы свое красноречие. Не мог придумать Савелий, на нос или на затылок должно надеть север. И солнце, по его мнению, то входило в левое ухо, а закатывалось из правого, то в правое, и садилось в левом. Куда же поворотить? Где искать Соловецкого? Утро раскрывалось как цветок, зато уж туман клубился — хоть на хлеб намазывай! Вот потянул ветерочек слева; но он был неверен, как светская женщина, колебался туда и сюда, как нынешняя литература,

и чуть бороздил воду, будто на цыпочках бегая вокруг судна, чтоб не разбудить мореходцев.

Савелий держал совет с дядей Яковом.

— Соловки близко впереди,— говорил Алексей.— Вихорь гнал нас в тыл, и мы бежали, как заяц от беркута.

— Соловки у нас далеко в правой руке,— утверждал дядя Яков.— Шквал зашел справа и занес карбас, как сокола, на запад.

— А, может статься, и правда!— молвил Савелий.— Откудова ж теперь подул ветер?

— Вестимо, с севера! Днем жарко, днем дует ветер с берега; ночью свежо, ночью он ворочается домой.

— Да теперь уж день, и назло тебе прошлую ночь ветер бежал с берега, словно из острога с цепи сорвался.

— Буря — особь статья, Савелий Никитич! На земле-то целую неделю пекло да жарило так, что и ночь не в ночь была; вот тепло без очереди и валилось в море, а теперь земля искупалася, попростыла; теперь непременно потянет холодок на берег, оттого что холодок сильнее тепла стал.

Дядя Яков говорил правду. Он не читал, отчего происходят ветры в атмосфере, не имел понятия о разрежении воздуха электричеством бурь или по равновесию газов, но он имел здравый ум и опытность. Савелий убедился. Решили, как изъясняются наши доморощенные мореходы, *побрасовать*, то есть поворотить паруса, и держать на восток. Вьюн зашипел за рулем; карбас поплыл в полветра. Однозвучное плесканье волн и утомление минувшей ночи клонили ко сну мореплавателей. Один Савелий не смел предаться утреннему сладкому сну: он был хозяин судна, он был король этого государства, сбитого деревянными гвоздями. Для блага своего и охраны других он не спал: зато грезил наяву. На ткани паруса и ткани тумана проходили, плясали, мелькали яркие образы, будто по месяцу волшебного фонаря. Ему виделось, как русая коса Катерины Петровны разделяется на две половины, и дважды обвивает

чело ее, и скрывается под гарнитуровый платочек с золотой каймою. Виделись ему и раздернутые ситцевые занавесы брачной кровати и смятая пуховая подушка под розовую щечкою невесты; виделись ему друзья и приятели,— пируют уж у него на крестинах. Вот забота, как назвать первого сына, кого позвать в кумовья первой внучке. Одним словом, около него резвилась уж целая толпа его нисходящих потомков, и он глядел на них нежно и любовно, как иной сочинитель на свое литературное потомство — мал мала меньше, запеленанное в телячью кожу с золотым обрезом, которое, мечтает он, грядущие веки будут нянчить наподхват. Он грезил уж о внучатах, говорю я, забыв, что под ним голодная пучина, забыв, что корабль не более как дерево, матросы не более как люди и что «есть земные крысы и водяные крысы», по словам Шекспирова жида Шейлока; а крысы съели польского короля Попеля; так спустят ли они разночинцу?

Сон и мечтания граждан карбаса прерваны были страшно и внезапно. Саженьях в пятидесяти от них, на ветре, вспыхнула молния сквозь туман, и за громом выстрела ядро свистя перелетело через их головы. Все вскочили с мест: Иван с знаком удивления, в скобках зевка; Алексей с облизнем от недопитой во сне браги; дядя Яков с растрепанною бородою; капитан Савелий с предчувствием конечного разорения. У всех уши выросли на вершок, у всех ужас вылился единоголосным криком: «Что это?!»

— Не гром ли?— сказал, крестьясь, Савелий.

— Не звон ли глиняных соловецких колоколов?— молвил лукаво Алексей.

— Я те задам такого благовесту с перезвоном, что у тебя до Касьянова дня в ушах будет звенеть! — крикнул дядя Яков.— Никитич! Лево на борт! Зевать нечего! Это англичане.

Целая стая годдемов зажужжала по дорожке, прорванной в тумане ядром, и убедила наших в несомненности слов Якова. Но желанье уйти от невидимого капера, пользуясь

мглою, оперило их надеждою. Карбас кинулся по ветру, как утка, испуганная ружьем охотника. Но через минуту всякая вероятность избавления исчезла. Туман, испаряясь, становясь прозрачным, оказал погоню за кормою. Английский куттер, взрывая волны и пары, катился вслед бегущих. Огромный гик, отброшенный на ветер, выходя из туманов, казалось, хватал их; тень треугольного паруса будто вонзалась в корму: она обдала холодом сердце русских. Жесткая труба загрела: «Boat — ahoo! Strike your colour» (Бот! сдайся).

Руки отнялись у бедняжек. Уползти не было возможности. Оружия у них — один дробовик да два топора. Между тем куттер напирал все ближе и ближе, заслоня собою ветер.

— Down with your rags! (Долой ваши тряпки!) — кликнула снова труба. — Put the helm up, damn! (Руль на борт, черт возьми!) Strike, or I'll run over and sink you! (Сдайся, или я перееду и потоплю тебя!) — С этим словом куттер начал приводить к ветру, чтобы дать действовать артиллерии. Савелий очень хорошо знал в чем дело. Он ясно видел, что англичанин мог пустить его ко дну ядрами или ударом водореза; но он был оглушен мыслию неволи и разоренья, — и когда же? — в самом разгаре надежд, в самом цвету счастья! Он пришел в ярость, вообразив, что все его достояние, все его потомство в фунтиках, в узелках, в тюках, в рогожках погребется в брюхе разбойничьего судна; что вместо объятий Катерины Петровны ожидают его линьки боцмана, вместо матушки Руси, какой-нибудь блокшиф¹, исправляющий должность тюрьмы! Ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и бац — прямо в борт куттера!

— Fire! (Пали!) — раздалось на нем.

Пламя каронады брызнуло по головам русских, и цепное ядро срезало обе мачты. Павшие паруса накрыли кар-

¹ Старый корабль, без вооружения, в порте стоящий.

бас, и, прежде чем наши выбились из-под этой сети, шестеро вооруженных матросов вскочили в судно и перевязали их. Соппротивление было бы безумством. Судьба свершилась. Савелий со всей своею командою — военнопленный; его карбас вместе с грузом — добыча английского капера, признанного в этом достопочтенном звании правительством и снабженного от него письменным видом, *lettre de marque*, и чугунными ядрами, для законного грабежа врагов Великобритании.

Давно уже, и много, и красно писали гг. публицисты противу корсарства, приватирства, пиратства, каперства, или просто-напросто морского разбоя, прикрытого флагом; но как такую песню запевали всегда те, которые не могли сами грабить, а не те, которые смели грабить, то все совещания ученых и обиженных кончались обыкновенно как совет мышей — не находили молодца, который бы привязал колокольчик на шею кошке, Англии. Забавнее всего, что Наполеон, который не признавал никаких прав, кроме тех, что мотаются как темляк на шпаге, — Наполеон, который, где только мог, изъяснялся диалектикою двадцатичетырехфунтового калибра, унизился до смиренной прозы, толкуя о каперах. Он очень серьезно и остроумно доказывал, что морское народное право — вовсе не право; что не сходно ни с европейскими нравами, ни с понятиями века грабить и полонить беззащитных купцов враждебной нации на море точно так же, как частную собственность мирных граждан на берегу; что, платя за съестные припасы поселянину и сохраняя жизнь, свободу и имущество даже в городе, взятом в бою, не бесчеловечно ли, не унизительно ли отнимать то, и другое, и третье, как скоро оно на корабле? Неужели соленая вода до того изменяет краску понятий, что презрительное и незаконное на суше становится на море похвальным и законным? Приговаривался он, что каперы и крейсера должны ограничиваться лишь осмотром купеческих судов и конфискациею одних военных снарядов. Англичане говорили, что это весьма справедливо, и не переста-

вали забирать, ловить, грабить все французские и союзные Франции суда.

После Тильзитского мира очередь упала и на нас, грешных. Мы принялись сосать свеклу, уверяя себя, что это сахар, и за тридцатого одеваться в дрянное сукно, сотканное на континентальной системе. Зато мы точили тогда свои непокупные и неподкупные штыки и вместо кофе пили надежду близкой мести. Она разразилась 1812 годом. Но так или сяк, а Савелий Никитич пленник. Англичане, как всем известно, народ ласковый, приветливый, до того, что на бочках его и его товарищей напечатался не один параграф морского права, откуда оно переселилось на палубу его великобританского величества, эту плавающую почву *habeas corpus*¹, ступив на которую, каждый чужеземец пользуется неограниченной свободой носить свой нос по будням и праздникам невозбранно. Мы видели, как поступили они с Наполеоном, который имел простоту отдаться добровольно их гостеприимству и великодушию; можете судить, каково приняли они русских мещан, дерзнувших убежать от их правоты и даже ранить дробью в нос дубовый куттер под флагом Георга III. *Le cas etait pendable* — это висельный случай, как говорят французы, и Савелью наверно бы досталось проплясать джиг под концом реи, если б он попался английской дисциплине после обеда; но, к счастью, пленение карбаса произошло в первую бутылку дня², и потому капитан капера удвоивал гнев свой, отпустив им на брата по дюжине образцовых браней, *standart jurements* — *Lod damn your eyes!* с придачею не в зачет нескольких; *You scoundrees ruffians* и *barbed dogs!* (мошенники, без-

¹ Акт о неприкосновенности личности (лат.).

² В морских заморских романах, я чай, не раз случалось вам читать: «четвертая склянка», «осьмая склянка». Это мистификация; это попросту значит, что моряки хватили три бутылки, что они пьют уже восьмую. Часомерие это, самодвижное и самозванное, весьма удобно и здорово: в полдень опрокидывают они все бутылки разом, и это называется: проверка хронометров. *Ученое замечание.*

дельники, бородатые собаки!) Савелий и дядя Яков, которым английские приветствия приелись, как насущные сухари, находили это в порядке вещей. Но Алексей несколько раз пытал высвободить свою десницу из веревок, чтобы обратиться с ответом *прямо к лицу* капитанскому; Иван поплеывал двое чаще.

Но в сущности англичане не злой народ, и если вычесть из них подозрительность, грубость, нестерпимую гордость и гордую нетерпимость всего иноземного, вы найдете, что они самые любезные люди в свете. Сердце англичанина — кокосовый орех: надо топором прорубиться до ядра, но зато внутри не свищ, как у француза, а сок освежительный. По внешности он действует сообразно со своими угнетательными, корыстными, колониальными законами; дома — по душевному уставу. Таков был и краснощекий, толстопузый капитан Турнип, командир куттера, — груб с лица, радушен с подбою. Раздраженный сопротивлением ничтожной русской раковинки, он грубо принял гостей своих; но когда дело кончилось удачно, когда все тюки и бочонки перепрыгнули через борт в трюм его, когда и сама верхняя часть карбаса изрублена была на дрова, а днище отправилось ко дну, когда он взглянул на бумаги Савелья, ограбивши прежде все дочиста, — это по-судейски, люблю молодца за обычай, — и объявил, что карбас был законный приз, улыбка разутюжила сафьянное лицо его; нахмуренные брови раздались, расступились, и он, ласково ударив Савелья по плечу, бросил ему самое засмоленное из приветствий, расцветающих на палубе:

— Heave a head, boy, and never fear (подыми голову и ничего не бойся!)¹.

Савелий, по народному выражению, лихо насобачился говорить по-английски. Савелий был сердит, а потому без раздумья просунул ответ сквозь зубы на это ободрение английской работы:

¹ Heave a head — в морском значении почти то же, что у нас: по местам! смирно! — то есть будьте внимательны, слушайте.

— Бог тебя прокляни, морская собака, и пусть будет черт твоим флагманом! Не бойся? Да чего мне теперь бояться, когда ты ограбил меня до души.

— Never mind! (Забудь это!) — возразил с улыбкою Турнип.

Мысль о добыче отбила прочь досаду за брань.

— Скорее черт забудет взять твою душу, чем я забуду счастье, которое ты у меня отнял!

— Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим некрещеным напитком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? Watch, boy, did I not?¹

— Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такою обглоданною жизнью. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил ты мой карбас, утопи же и меня.

— Если утопить тебя в море, оно сделает из тебя солонину рыбам: тебя жалы! Если б утопить тебя в водке, она превратится в настойку глупости: водки жалы! Ты, приятель, лихой моряк, когда пускаешься по морю в табакерке: я не могу запретить себе уважать такую отвагу. Ну, скажи, за что ты сердишься? Будь ты сильнее меня, ты сделал бы то же со мною, что я с тобой! Не лучше ли будет прохладить твою горячку, выливши на тебя ведро холодной воды, и утопить твою горе, вливши в тебя стакана два рому?

Хмель — чудесная смазка для удовольствия и горя: он так же плотно лепит к сердцу расписанный изразец первого, как зубристый булыжник второго. Савелий долго отнекивался пить, отталкивал приветно подлетающий к губам его стакан с жидким забвением; наконец, глотнул, морщась; еще и еще разик, и вот, с каждым глотком, горе его таяло, как сахар в пунше, и, наконец, он подумал: «Покуда сам жив, счастье не умерло!» И он весело взгля-

¹ Разве нет, мальчик? (англ.)

нул на божий свет, будто выбирая, с которого края начать его. Он отломил каждому из своих товарищей по кусочку собственной бодрости и протянул к капитану руку.

— Так бы давно! — сказал тот. — Будьте смирны да работайте, так на нас жаловаться не станете. Даст бог, русские подымутся с нами заодно против этого разбойника, Бонапарта, и тогда вы опять увидите с своей родной. Она хоть и ледяная, а все до тех пор не растает!..

«А Катерина Петровна? — подумал Савелий со вздохом. — Женщины тают скорее снегом».

Капитан окунул свои руки в карманы и пустился ходить по палубе. Может быть, и он думал о своей Фанни.

Капитан этот служил сперва на ост-индских кораблях — на индейцах, *Indianen*, как выражаются англичане. Потом состоял он на полужалованье; потом ему отказали и в этом за долгую неявку. Он, изволите видеть, рассудил, что лучше есть пряности и сладости, чем перевозить их с берегов Ганга, и женился. Тут он узнал, однако ж, что вся сладость супружеского чина состоит в картофеле и куске говядины. Это так его тронуло, что он с горя потолстел, а для рассеяния и барышей пустился в торговлю. Коварная стихия, то есть море, а не жена его, однако ж, не сманила бы его самого с берега, если б несчастным случаем часть его имущества в товарах не попала в руки французскому каперу. С этой минуты он от собственного лица объявил войну Наполеону и, движим любовью к отечеству и к своему карману, решился вознаградить убыток тем же путем, каким он пришел к нему. Оснастил он небольшое одномачтовое судно, нанял экипаж, купил себе четыре пушечки, — ведь в Англии они продаются на толкучем рынке, и подчас вы можете купить целую батарею у носячего, — испросил у правительства билет на представление войны в миньятюре и пустился пенить море. Ему удалось в Канале захватить какой-то бот с контрабандою да несколько несчастных рыбацких лодок. Это его произвело в собственном мнении в герои красного флага, и

он, заслышав, что снаряжается небольшая эскадра в Ледовитое море для поисков над шведами и русскими, решился идти вслед за нею, как чакалка за тигром. Он расчел, что шведские китоловы и русские мещане ему по силам более, чем французские корсары, и что, врасплох нападая, скорей можно поживиться добычей. Он снялся с якоря и обогнул Норвегию вместе с королевскою флотилиею.

Разрыв России с Англиею в угоду Наполеону хотя и не был искренним с обеих сторон, однако ж все моря, которые считают англичане своими столбовыми и проселочными дорогами, *highs — ways and by — ways*, были замкнуты для нас живою цепью кораблей. Крейсеры их шныхарили в Балтийском море, и в 1811 году показались в Белом море, с набольшим намерением разграбить Соловецкий монастырь. Сведая однако, что там усилены гарнизон и артиллерия, они не посмели на приступ и возвратились. Один только бриг проник до самой Колы, однако ж спешил улизнуть оттуда с небольшою добычею за добра ума, когда был застигнут бурей, разлучен со своим флагманом и наткнулся на карбас Савелья. Теперь он правил бег свой восвояси, и уже три дня протекло со дня пленения карбаса. В эти три дня капитан Турнип обжился с новобранцами своими. Капитан Турнип был неплохой моряк по знанию моря, но очень плохой по своей лени. Женатая жизнь избаловала его: неохотно расставался он с застольем и постелью. Крутой пудинг и мягкая подушка были для него, разумеется, с примесью мадеры и грога, первым блаженством мира: он не мог вообразить идолов иначе, как в виде соусника, бутылки или пуховика. Вследствие сего он гораздо более любил проводить время в уютной каюте своей, чем на палубе. Что же делать, милостивые государи! Он привык к домовитой, к порядочной жизни: он был человек женатый.

Впрочем, наш холостой XIX век также прихотлив, будто женатый вельможа. *Comfort*¹ — надпись его щита.

¹ Комфорт (англ.).

Правда, он выдумал для неприятелей паровые пушки, для приятелей дрожки без одолжения; зато выдумал и сиденье сзади коляски для слуг, тротуары для пешеходов, ошейники с рессорами для собак, резиновые корсеты для красавиц, непромокаемые плащи для воинов, суп из костей для бедных, для богатых нетленный суп, который выдержит потоп, не потерявши вкуса, выдумал жаровню, которая жарит бифштекс в кармане, и ватерклозеты для спален. Выдумал он... Да чего он не выдумал! Все — от машины растирать камни в пузыре до французской бритвы, гильотины, которая вам снимает голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть, и до многих других этого рода усовершенствий. Скажите, можно ли быть заботливее, предупредительнее нашего века? Не хотите ли вы мне говорить про солнце старинное, про нестареющую природу, про наслаждение бивуаков, про здоровье гнилых сухарей и приятности грязного белья?.. Вздор, сударь! Я люблю искусства и промышленность. Я хочу жить и умереть при свете газовых ламп, на тюфяке, набитом благовонным воздухом, в перчатках с пружинами, с резиною спиною, с сердцем, не промокающим даже от слез. Я русский своего века, милостивый государь! Я люблю газеты и омнибусы... Я люблю comfort. Ваш покорнейший.

Капитан Турнип, как англичанин, который скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и зачумить другую, скорее, чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы, любил комфорт не менее моего и, по обыкновению своему, в третий вечер отправился на боковую, оставя рулевого за себя бодрствовать, а русских пленников спать на голых досках, под парусом вместо одеяла. Ночь была прелестна без метафоры. В самом деле, ночи севера очаровательны: это день при лунном свете, это перелив зари вечерней в зарю утреннюю. Опаловые небеса чуть блещут звездочками, и, когда они роняют лучи свои в синие волны, резвущие волны ловят их, отнимают друг от друга, делят, дробят их искры, хотят

затаить в своем зыбком хрустале и потом прыщутся ими игриво. Взор ваш далеко пронзает чистое небо, как будто усиливаясь прочесть высокую, божественную мысль; по нем разлитую, глубоко погружается в бездну моря, разгадывая дивную тайну, в нем погребенную. Вы скажете, что эти улетающие от взора небеса со своими алмазными цветами, со своей радугою вокруг месяца, с причудливыми образами облаков есть воображение, а море с ропотною пучиною своею, с обломками кораблекрушений, с каменистыми растениями, с трупами, с чудовищами на дне, с фосфорическим блеском сверху — память человеческая?

Савелий не разгадывал ни мысли, ни тайн творения, но они совершались в нем без его ведома. Тоска по отчизне грызла его сердце, тоска, которую превзойдет разве час разлуки с жизнью. Выньте рыбу из воды, посадите птичку под воздушный насос и скажите им: «живи!» Оторвите человека от отечества и потом дивитесь, что он чахнет, скушает. Не спалось Савелью на новоселье. Он тихо поднял голову...

Ветер был свеж, но ровен. Закрепленные паруса были вздуты; куттер, склонясь на бок, шибко резал волны, и они рассыпались о грудь его серебряными колосьями. Всплески звучали мерным ладом, и струя, скользя вдоль боков, сливалась за рулем в завитки и нашептывала, напевала сон на все живое. Покорный этому призыванию, рулевой дремал над румпелем и только повременно, по привычке ворчал: «Steady! Steady!» (Проворнее!) Трое вахтенных матросов храпели уже, прикорнув к сеткам; остальные все спали в койках, в своей каюте, внизу.

И вдруг огневая мысль выстрелила в голове Савелья и проструилась по всему его составу. Ему показалось, кто-то крикнул на ухо: «Овладей куттером!» Он толкнул дядю Якова: тот проснулся.

— Видишь ты? — сказал он шепотом, показывая на спящих англичан.

— Вижу, — отвечал Яков оглядевшись.

— Хочешь ли ты свободы?—спросил Савелий.

— Хочешь ли ты смерти? — спросил, в свою очередь, Яков.

— Смерть — та же воля. Лучше умереть в шубе, чем голому жить. Лучше отдать свои кости божьему морю, нежели таскать их по чужой земле. Со мной, что ли, дядя Яков? Не то я один наделаю проказ, а в кандалы не дамся.

— Слушай, удалая голова: я не меньше тебя люблю матушку Русь, я тебя не выдам. Только подумай — где мы и сколько нас?

Савелий указал ему на два люка, отверстия, ведущие под палубу, потом на ряды абордажных орудий, висящих по сеткам, и что-то пошептал ему на ухо тихо, тихо.

— С богом! — произнес дядя Яков.

С двумя остальными русаками нечего было советовать: им стоило только велеть, и они готовы в пыл и в омут. Савелий подобрался к борту, отцепил топор и прямо пошел к рулевому. Тот в полглаза взглянул на него, подернул штуртрос¹ и пробормотал свое: «Steady! Steady!» Оно было последним. Савелий разнес ему череп до плеч; несчастный упал через румпель безмолвен, и кровь рекой полилась по палубе. Трое русских схватили одного спящего англичанина и перебросили его через борт в море. Но двое остальных англичан проснулись от шуму, схватились бороться и, только раненые, уступили силе. Голодная пучина с шумом приняла их в свое лоно, но не вдруг поглотила их. Жалобный, пронзительный крик то возникал, то смолкал над волнами, и, наконец, все слилось в молчание могилы, в тихий говор моря. Между тем смертный клик борьбы всполошил осьмерых матросов, спящих внизу; но русские успели уже надвинуть на отверстия решетчатые крышки и закрепить их сверху болтами. Едва англичане осмеливались попытаться поднять кровлю сво-

¹ Веревка, управляющая рулем.

ей западни, три заряженных мушкетона отпугивали их прочь. Люк в каюту капитана был также заколочен прежде, чем он отряс с ресниц своих сон, утроенный мадерою.

— *Бой!* — закричал он грозно, услышав необычайную суматоху на палубе. — *Бой!* — повторил он с приложением сотни браней; но *бой* не являлся, хотя заклинания капитанские могли бы вызвать всех чертей из ада. Бедняга, мальчик лет двенадцати, вестовой капитана, был лишен на этот раз неизбежного пинка, служившего знаком восклицания звательному падежу — *бой!* Он давал ему невероятную быстроту движений. «*Бой, принеси бутылку! Бой, кликни боцмана!*» — и пинок в зад, и он взлетал по лестнице соколом. Да! пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя — петля на конце реи.

Видя, что *бой* нейдет за получением своей порции, капитан в гневе вскочил с постели и кинулся к дверям; они были заперты.

— Что это значит?! — вскричал он, потрясая задвижками.

— Это значит, что ты мой пленник, — отвечал Савелий сквозь люк. — Половина твоих людей в море; другая забита в палубе. Сдайся!

— Чтобы я, лейтенант королевской службы, сдался бородачу? Никогда! Ни за что! Я пробуравлю дно и потоплю тебя! — кричал Турнип.

— Я зажгу судно и взорву тебя на воздух, — возразил Савелий.

Но судно не было потоплено, ни сожжено. Оно было только обращено назад и тем же полуветром бежало к Руси. Савелий правил рулем и надзирал над капитанским люком. Двое других стояли на часах, при люке матросской каюты, одному позволялось спать. Все они были обвешаны оружием. Тяжко бы им было управляться с парусами, если бы ветер переменялся или скрепчал: но он дул ровно и постоянно, и Алексей, весело поглядывая впе-

ред, охорашивался и говорил: «Знай наших!» Тишина прерывалась только порой бранью запертых в клетке англичан да заклинаниями капитана. Наконец и он умолк. Как истинный философ, он, приняв тройной заряд рому, заснул, поверженный, но не побежденный.

На другой день русские сделали печальное открытие, что у них нет ни крошки сухаря: все съестное хранилось внизу. Победители могли умереть с голоду прежде, чем добежать до берега. Англичане не сдавались и не давали ничего. К счастью, случай уравнил бедствие обеих воинствующих наций. Англичане незадолго выкатили на палубу остальные бочки с водою, для помещения под кровлю нежной добычи. Начались переговоры.

— Дайте нам хлеба! — говорили русские.

— Дайте нам воды! — говорили англичане.

— Не дадим, — отвечали англичане, — покуда вы нас не выпустите.

— Не дадим, — отвечали русские, — сдайтесь.

И парламентары расходились от люка.

Но голод и жажда уладили перемирие. Народное честолюбие замолкло перед воплем желудка: мена учредилась. За каждый кусок сухаря и солонины, данный в обрез, отмеривались кружки воды на полжажды.

— Я бы желал, чтоб ты подавился этим куском! — говорил капитан, просовывая олений язык сквозь отверстие люка.

— Я бы желал, чтоб ты век пил одну воду! — говорил Савелий, подавая ему мерку не винной влаги. — Авось бы ты с этого поста поумнел!

— Ты разбойник! — ворчал капитан.

— Я твой ученик, — возражал Савелий, — утешься! Я сделал с тобой то же самое, что сделал бы ты со мной, если б был сильнее. Разве это не твои слова?

Капитан говорил, что ничего в свете нет глупее таких утешений.

Куттер плыл да плыл к Руси.

Куттер этот был забавное и небывалое явление в политике. Это не было уже *status in statu*¹, но *status super statum*², государством верхом на государстве, — победители без побежденных, и побежденные, не признающие победителей; это было два яруса вавилонского столпа, спущенные на воду. Внизу ревели: «Да здравствует Георг III навечно!» Вверху кричали: «Ура батюшке царю Александру Павловичу!» Английские годдемы и русские непечатные побранки встречались на лету. Это, однако ж, не мешало куттеру бежать по десяти узлов в час, и вот завидели наши низменный берег родины, и вот с полным приливом, с полным ветром вбежал он в устье Двины, не отвечая на вопросы брандвахты, несмотря на бой бара. Савелий не хотел медлить ни минуты и, зная, что ему простят все упущения форм, катил без всякого флага вверх по реке. Таможенные и брандвахтенские катера, задержанные баром, выбились из сил, преследуя его. Таможня и брандвахта сошли с ума: ну что, если этот сумасброд — англичанин! ну что, если он вздумает бомбардировать Соломболу, сжечь корабли, спалить город. Конные объездчики поскакали стремглав в Архангельск, и тревога распространилась по всему берегу прежде, чем призовой куттер показался.

Вооруженная шлюпка, однако ж, встретила его на дорое, опросила, поздравила, и суматоха опасений превратилась в суматоху радости. Прежде чем снежный ком докатился до Архангельска, он вырос в гору. Все кумушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам — время ли на двор заглядывать! — и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево; принуждены были сдаться, супостаты! Теперь

¹ Государство в государстве (лат.).

² Государство над государством (лат.).

он ведет его сюда на показ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды.

Громкое ура с набережной встретило приближающийся куттер; шапки летели в воздух, чоботы в воду; в порыве народной гордости, народ толкал друг друга локтями и коленями. Всякий продирался вперед, все хотели первые поглядеть на удалого земляка, Савелий чуть не рехнулся: он бегал по палубе, обнимал своих сподвижников, стучался в двери Турнипа.

— Сдайся! — кричал он. — Мы уж в Архангельске.

— Не сдамся бородачу! — отвечал тот.

Когда причалили и бросили сходень, губернатор первый встретил Савелья, прижал к груди, назвал молодцом. Сердце закатилось у Савелья с радости, слезы брызнули из глаз его.

— Ваше превосходительство!.. — отвечал он. — Ваше превосходительство... я русский.

Капитан Турнип преважно сошел на берег, вручил губернатору свой кортик и отправился под прикрытием в город, напевая:

Rule, Britannia, the waves!
(Владей, Британия, морями!)

Все смеялись.

Нужно ли досказывать? Савелий не поехал в Соловки: он пошел в церковь со своею милою Катериною Петровной. Государь император, узнав о подвиге Никитина, наминавшем подвиг Долгорукого при Петре, прислал архангельскому герою знак военного ордена и приказал продать в пользу его с товарищами груз призового капера.

Это не выдумка, Савелий Никитин жив до сих пор, уважаем до сих пор; и если вы встретите в Архангельске бодрого человека лет пятидесяти, в русском кафтане, с георгиевским крестом на груди,— поклонитесь ему: это Савелий Никитин.

1834 г.
Дагестан



КРАСНОЕ ПОКРЫВАЛО

Сцена из походной жизни

С карандашом в руке сидел я на восточном кладбище Арзерума, срисовывая один весьма красивый надгробник в виде часовни. Осеннее солнце клонилось за далекие горы Лазистана. Ярко отделялись на зареве зубчатые стены города, который восходил в гору ступенями, и над ним в вышине, грозным стражем возникал замок, и над замком сверкали Русские пушки, веял Русский Орел крылами. Столповидные райны, перевышенные башнями, устремленными в небо, не колеблясь, стояли вдали, и стройные минареты мечетей, сверкая золочеными маковками, казались огромными свечами, теяющимися пред лицом Аллы. Долгие тени надгробных камней толпой сходили в долины, и за кладбищами, рассыпанными по всем окрестным холмам Арзерума, как стадо лебедей, виделся лагерь военный, расположенный при входе в Байбуртское ущелье.

Картина, развитая передо мной, была великолепна, пленительна, и, забыв рисунок свой, я весь поглощен был созерцанием видов окрестных: сумерки облекали в свои таинственные краски все дикое, все резкое при сиянии дневном, и населяли пустоту мечтами, даль мыслями. Город роптал, как засыпающий великан, но зато предместья становились тем шумней пред закрытием ворот. Все дороги, к ним ведущие, сокрытые игрою холмов, в коих они прорыты, заметны были только по облакам пыли, над ними кипящей. Стада спешили с поля в город, и из города на водопой. Крик погонщиков, гремение ослиных позвон-

ков, ленивое мычание буйволов, нетерпеливое ржание боевых коней — сливалось в шум, подобный спору моря с утесами.

Жизнь говорила вдали, но зато какая мертвая тишина лежала кругом меня! Грозна была громада города, но еще грозней облегало его войско смерти — бесчисленное множество стоячих камней казалось воинами, стремящимися на приступ неотразимый. Сколько поколений, живших за этими крепкими стенами, невольно покинули их, чтобы лечь в прах у стоп могильных камней, и сколько еще родов и народов заснет здесь сном беспробудным!

Кладбище! бездна, ничем не наполняемая и вечно насытая — ужель безвозмездно работает на тебя жизнь? Ужели волны твои грозят потопить некогда всю область ее? Кладбище, говорю я, но что такое вся земля как не исполинское кладбище! Как здесь гроб, на гробе кости на костях; так везде, на каждом шагу, попираем мы остовы праотцов, памятники народов, обломки первобытных миров, из коих создан мир наш. Может быть, прах, отрясаемый с наших ног, смешан с прахом Восточных Царей, давно истлевших, давно забытых; и кто считал песчинки в часах судьбы? Может быть, чрез месяц ветер, освежающий лицо мое в жар полудня, разнесет мой прах далеко, далеко!

И почему эта мысль, как льдина, пала на сердце? Мне ли быть вечным на земле, когда тысячелетние деревья падают с подножий ровесников творения, когда гранит распадается от дыхания времени, и под тяжкою пятою его сокрушаются все памятники бытия, даже небытия человека! Посмотрите кругом: сколько плит, веков, вер друг на друге: идолопоклонники, огнепоклонники, мусульмане, христиане. Подле камня, цветущего пестрыми, свежими арабесками, врастает в землю тяжелое надгробие, седое мохом древности, и путник напрасно разбирает неведомые на нем руны — судьба сгладила их с камня, как язык, на коем они писаны, из памяти народов, как самый народ,

говоривший им, с лица земли! *Самые кладбища имеют судьбу свою*, — сказал Ювенал: «Data sunt ipsae quoque fata sepulchris».

Глубокая, горестная истина! И где суждено мне пасть в объятия сырой земли? Где истлеет мой прах и сокрушится над ним тленное надгробие? На родине или в чужбине пожрут меня уста этого непонятного Сфинкса — могилы? Сохраню ли я в другом мире здешнюю самобытность, или лучшею только частью моею сольюсь с другим лучшим целым? Оживет ли в ней память об этой жизни, или только пророческие сны, едва намекающие о давно минувшем, будут, как и здесь, ее уделом? Наконец, судьба человечества, этого вечного? Я, равно в границах известного времени и пространства, как в беспредельном горизонте вселенной, в бездне вечности... увлекла меня в даль недолетную; но смелая дума напрасно порывалась взлететь над безвестным океаном, как против вихря чайка прибрежная...

Грохот заревых барабанов, во всех концах города переторивающих друг другу стройными переборами, извлек меня из глубокой думы... гул его доходил до меня, теряя отдалением суровость свою, — и звук флейт, оканчивая каждое колено, лился, подобен милому голосу женщины, вслед за грозным кликом воина; муэззины звали к молитве. Заревая пушка грянула в лагере, — эхо гор отвечало ей долгим перекатом, — и наконец везде воцарилось молчание. Тихо ниспал флаг на башню замка... победный Орел свил крылья свои. Солнце село.

Но не вдруг сошла ночь на окрестность: прозрачный туман медленно развивал свою креповую завесу — медленно улавив чалмою главы гор; тени и пары густели постепенно, — и вот, золотокрылый месяц вспорхнул на небо обычной стезей своей, — и мои думы опять покинули землю против воли и без ведома сердца.

Скажите: отчего на поле битвы, даже после битвы, когда уже сердце начинает простывать от запальчивости, от негодования, от мести; когда миновала опасность и вни-

мание не занято службою, отчего, спрашиваю, видя растерзанные чугуном и железом трупы, в крови, в пыли, обнаженные, разбросанные по земле, слыша стон безнадежно раненных и хрипение умирающих — душа воина не содрогается? Смерть кругом его, смерть везде, кроме его мыслей. Самый трус не даст вам отчета, чего он боится в деле, чего ужасается после? Его страшит сабля, пуля — он хотел бы избежать раны, спасти жизнь, — но никогда ясная мысль о смерти не представляется его уму, крутящемуся в вихре разных ощущений. Ему некогда думать от робости, от стыда; отважному от горячности, от жажды отличия, от занятий по должности; каждый так занят делом или любопытством, нетерпением или боязнию, что прежде чем успеет рассудить, он уже увлечен в натиск или в отступление, и нередко ранен или убит, не имея свободного мгновения и вспомнить о смерти. Вот почему не должно так высоко ценить то, что мы называем храбростию, ибо из сотни едва ли двое действуют по собственному внушению, остальные покорны случаю и влекутся немногими; побеждают или гибнут потому, что не могли сделать иначе. После сражения удовольствие видеть себя невредимым, радость встречи с друзьями, высокое чувство победы, и, наконец, усталость телесная, заграждают душу от мысли о кончине, хотя все чувства поражены ее жертвами. Привычка довершает беспечность.

Не то бывает наедине, на кладбище, — хотя оно только область тления, только хранилище бранных останков человека, а не поле смерти. Безмолвие гробниц навеивает на душу какую-то священную тишину: сердце усмирено, страсти улегаются, умственное ухо внимлет вещаниям могил, предвещаниям будущего. Мнится, дружный голос возникает из земли, и будто знакомые тени толпятся около, манят к себе: душа рвется из оболочки, и взор хочет пронзить мрак ночи. Такими мыслями, такими мечтаниями был занят я, сидя на гробовом камне, — и месяц уже сиял высоко надо мною.

На одном из холмов я давно видел женщину, стоящую над могилой... она была высокого роста, и длинное красное покрывало широкими складками струилось до земли,— но как подобные явления вовсе не редки в землях мусульманских, где частые поминки по умершим считаются священным долгом для оставшихся, — я не обращал на нее внимания. Не раз бродящие окрест взоры мои останавливались на стройном стане ее, и снова погруженный в задумчивость, я забывал о ней, забывая все земное. Но вот протекло более четырех часов, как я на кладбище, и она не трогалась с места, не изменяла положения: она сама казалась истуканом надгробным. Это изумило меня. Мусульманка — и в такой поздний час — посреди неверных, вблизи русского стана? Правда, что турчанки скорее одноземцев своих ознакомились с великодушием русских, и в городе, не страшась, ходили поодиночке, — но вечером и за городом — никогда. Гибельная ревность своих страшила их во сто раз более, чем встреча с победителями, и бумажный фонарь был необходимым условием для тех, которых необходимость принуждала выйти ночью на улицу в сопровождении мужа или родственника. Любопытство подстрекнуло меня, и, забросив на плечо полу плаща, я тихими шагами пошел к незнакомке.

Холм, на котором стояла она, занят был армянским кладбищем, сливающимся с прочими. Смерть помирила враждующих: правоверный лежал рядом с христианином; жертва и палач вместе — крест подле столба, увенчанного чалмою. Я приблизился. Я уже стоял перед незнакомкою, — но она не видала, не слыхала меня. Красное покрывало ее отброшено было с лица — и как прелестно, как выразительно было бледное лицо ее, обращенное к небу!.. на полураскрытых коралльных устах исчезал, казалось, ропот — и дико блуждали в пространстве черные ее очи. Какая безотрадная горесть напечатлена была на этом высоком челе, какое гордое отчаяние сверкало из этих бесслезных очей, какие горькие жалобы таились в этой

белоснежной груди, волнуемой вздохом неразрешимым!! Есть чувства, которых не дерзал еще выразить ни поэт, ни живописец — такое безмолвное чувство трепетало в каждой жилке красавицы... Сердце мое сжалось, и глубоекое соучастие вырвалось речью... Тон голоса смягчил нескромность вопроса. — Ханум (Госпожа)! — сказал я ей по-татарски¹, — ты, верно, оплакиваешь родного?

Турчанка вздрогнула, но не закрыла лица по общему обычаю азиаток: властительное чувство тоски убило в ней все другие заботы. Казалось, она пробудилась от тяжкого сна моим голосом... Взоры ее остановились на мне, — но ответ ее был едва внятен, — она будто разговаривала с сердцем своим... — Да, я оплакиваю родного, — сказала она. — Он был мне все на земле: отец мой, брат мой, любовник, супруг! Как заботливый родитель, он дал мне новую душу... как нежный родственник, лелеял меня, — как страстный жених, любил меня, — и я любила его, — примолвила она. — Но это слово пронзило мою душу... Она склонила голову на сжатые судорожно руки.

— Утешься, красавица, — сказал я, — твой милый теперь в раю. — Лицо ее вспыхнуло. — Да, он стоял любви самих небожительниц Гурий еще на земле! — отвечала она. — Но я знаю его сердце — оно бы стало и с ними грустить о верной подруге, которая для самого Азрафила не изменит ему и мертвому. Нет, ревность моя к небу была бы напрасна. Не в рай Магомета — в рай Аллы улетела светлая душа его — он был Христианин! — Христианин? — вскричал я, отступая от удивления... — Но кто ж был он?

— И ты, русский, спрашиваешь, кто был он; и воин, ты не знал товарища, и человек с живым сердцем не имел его другом! Бедный, бедный, — я жалею тебя!.. Когда он был живой — я отдала бы жизнь за то, чтоб он любил одну

¹ Татарский язык Закавказского края мало отличен от турецкого, и с ним, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию.

меня — когда он убит, я бы хотела, чтобы все его любили, как я... Но кто так узнает, так горячо полюбит его, как я?.. Ангел было имя души его; моей душой (джан-ашна) я звала его — другого имени не ведала и не хотела я узнать! — Я склонился к надгробному камню, вонзенному стоя, и в самом деле увидел на нем грубовысеченный крест и под ним надпись:

«Здесь покоится прах умершего от раны, полученной в сражении близ... Поруч... Влад...» — далее не мог я разобрать — нижняя часть доски разбита была пулями — в нее, кажется, кто-то стрелял в цель. Участие, еще нежнейшее, овладело мною, когда я узнал, что она любила моего одноземца. Мне стало жаль оставить ее в такой час опасным встречам. Я вспомнил, что за два дня нашли во рву крепостном убитую девушку — жертву ревности, вчера двух женщин на улице: осмеленные выходом русских, мстительные мужья платили кинжалами, может быть, за мнимые неверности; ласковый взгляд был преступление в глазах изуверов. Желая напомнить ей о поздней поре, я сказал: — Милая (ман-азизум) — солнце давно уже закатилось!

— Мое солнце и не взойдет, — горестно возразила она. — Ни крик петуха, ни звон трубы, ни даже мой голос не разбудит его утром... Мои жаркие поцелуи не откроют его очей, щеки не улыбнутся мне, уста не молвят слова радостного! — Нежное воспоминание растопило ледяную кору тоски — и в три ручья брызнули слезы; она горько заплакала. Когда я очнулся, щеки мои были влажны. — Сестра, — сказал я ей наконец, — ты здесь не безопасна. Я честный человек — доверься мне: я провожу тебя, куда ты хочешь: к мечети ли предместья, или в знакомый дом. Иначе наши могут обидеть тебя или свои оклеветать. Вели: я твой защитник!

Негодование изобразилось на лице ее; с величавой осанкою подняла она голову и с гордым взглядом указала мне на небольшой кинжал, скрытый под парчовым ее

архалуком. — Русский, — произнесла незнакомка, — скорей это лезвие, чем рука мужчины, коснется моей груди: я умею умереть... Я уж умерла для клеветы соседей, для мести родных. Пускай они все видят, все знают. Прежде с кровью не исторгли бы из меня тайны любви моей — теперь я рада всякому, везде говорить о ней... в этом моя гордость, мое утешение! У меня уж нечего отнимать, мне уж нечего бояться. Бывало и звезды ночи, не только злоба людей, не видали шагов моих к милому — тогда мне дорого и страшно было завтра. Теперь у меня нет завтра! Здесь ночь, здесь зимняя ночь! — промолвила она, положив руку на чело, потом на сердце... — Он унес в могилу свет из очей и теплоту из сердца — на его могиле хочу я умереть, чтобы в ней смешались прахи наши, а за ней наши души!

Она сделала рукой знак, чтоб я удалился, склонила колени и погрузилась в молитву. Напрасно я говорил ей, напрасно уговаривал: слух ее был далеко, и струи слез сверкали на лице, озаренном луною. Отдалясь шагов на сорок, я решил охранять ее до рассвета. Неодолимое чувство, может быть, еще нежнейшее участия, приковало меня к судьбе ее... «Несчастливая, — думал я, — для того ли гордое чувство любви возвысило тебя над толпою одноземок, доступных только рабскому страху или презрительному корыстолюбию даже и в том, что они называют любовью; над толпой, не ведающей иных наслаждений, кроме чувственности, других занятий, кроме детского тщеславия, — чтобы оставить посреди их в пустыне? Для того ли упала завеса с твоего разума, чтобы ты ясней увидела бездну горя? Для того ли чистый пламень страсти утончил все твое существо, чтобы ты живее ощутила в сердце жало разлуки, разлуки вечной!! Какая подруга теперь поймет тебя, какая грубая забава утешит? Твой милый сорвал тебя, как цветок, с корня растительной жизни и на своих крыльях умчал в новую, прекрасную жизнь умственную — но стрела смерти пронзила его в поднебесье — и тебе не

дышать более воздухом этого поднебесья,— не прирость снова к земле!»

Колокол главной караульни города прозвучал 11 часов ночи. Кругом все спало мертвым сном. Лишь изредка переклик стражи, да лай собак раздавались в крепости и в стане. Опершись о надгробный обломок, я пробежал взорами горизонт, стесненный мраком и туманом. Сзади меня чернел город, и только над замком сверкали два луча — это были ружья часовых. Пары слоились, волновались по диким, обнаженным хребтам окрестных гор. То возникали они причудливыми зданиями, то расходились серебряным лесом. «Не так ли,— думал я,— выются ночные мечты около сердца, обнаженного от зелени радости!» Но между гор одна высокая вершина не была облечена пеленой тумана, и расщепленная молниями вершина сия во всей дикости возвышалась над морем паров... «Душа высокая — вот твоя участь: для тебя недоступны мечтательные надежды — не тебе земные утешения!»

Но кто там скачет по гробницам, извлекая из них молнию? Это Осман. Белый конь его мчится, как оседланный вихрь, и полосатый плащ (чуха) клубится во мгле, подобно облаку... Рука моя невольно взвела курок пистолета, ибо ненависть турок ознаменовалась не одним тайным убийством. Но всадник вдруг осадил коня — привстал на стременах — страшно сверкают очи под белой его чалмою... окладистая черная борода объемлет бескровное лицо — он кого-то ищет, он нашел свою жертву. Снова конь взмахнул розовой гривой, и в три поскака он уже был на могиле русского, над которой на коленях молилась прекрасная незнакомка. Я видел, как взвился на дыбы конь всадника, видел, как сверкнула сабля, подобна рогу луны сквозь тучу, — слышал, как непонятное для меня проклятие огласило воздух, — и за ним краткий, но невыразимо пронзающий стон... Но все это свершилось в одно мгновение ока, и когда я кинулся туда, — красное покрывало было уже распростерто по земле. Завидев меня, злодей с

свирепую радость устремил на меня бурного жеребца своего и с кликом «Христиан тази!» (Христианская собака) — взмахнул саблею. Он бы наверно изрубил и стоптал меня, если б пуля не встретила его на лету. Огненный фонтан брызнул и, сабля врага, упав с высоты, звучно разлетелась натрое. Испуганный конь кинулся в сторону, но еще всадник держался на нем. Качаясь, помчался он вдаль, упав на гриву, и, когда бешеный бегун перепрыгнул через водовод, он исчез у меня из виду.

Волнуем предчувствием, поспешил я к незнакомке — она уже не существовала! Сабельный удар рассек ей плечо до сердца, и только лицо ее не было облито кровию. Черные косы рассыпаны были по плите, которую обняла она руками. Припав на колена, я долго вглядывался в чело ее, леденеющее постепенно: страх не успел согнать с него грусти глубокой, и уста, казалось, разверсты были не стоном, а вздохом любви.

Я хотел обмануть себя, увериться, что румянец пробивается порой сквозь снег бледности, что дыхание жизни колеблет щеки — нет... все прошло... все кончилось... душа ее проникла уже великую загадку, которую так страстно и так напрасно разгадывал я недавно.

— Пожалеть или поздравить тебя, красавица? — сказал я, проникнут тихую горестию. — Как бы то ни было — если и не встретишь ты друга за дверью смерти — твои земные страдания кончились — покойся! — Прощальный поцелуй мой сошел на холодное ее чело — и я задернул групп красным покрывалом.

На утро, с зарей, мы выступили обратно в границы России. Я мог догадываться, кто был любовник убитой красавицы; но кто была она, кто таков убийца, отец ли, брат ли, супруг ли ее, — не знаю. Все мои разведки остались бесплодными... Она и он для меня канули будто в воду — но воспоминание об ужасной картине еще горячо на сердце, и я до сих пор содрогаюсь, встречая *красное покрывало*.

ОН БЫЛ УБИТ

От праха взят, ты снова станешь

*Но вечно ли? но весь ли я? ^{прахом!} Мой взор,
Неведомым одолеваем страхом,
Таинственный читает приговор.
Ужели дух и мысли чада света
Не убегут тлетворного завета?*

А. Б.

Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду — и назади всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его и, удивленный, не видя его перед собою, проникнут холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга; железная рука смерти на всем скаку осадила разгоряченного бегуна его; задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь. Я едва успел оборотить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного. Тихо опускаю его на землю, гляжу: глаза закатились, не слышит, не дышит он... Рву сюртук, раздираю на груди рубашку: нет надежды! Свинец пробил сердце навывлет, самое сердце!! И еще около нас свистали вражеские пули, еще «ура» и гром стрельбы раздирали воздух, но уж того, кем было начато это «ура», кто вызвал эти

выстрелы, не стало. Быстрее пули умчался он, исчез кратче звука. Но и пролетный звук оживает хотя на миг в отголоске; неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени?

Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: «Разве тень или отголосок души — это гордое, выразительное лицо, с которого кончина не успела еще стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашия? Но пусть пролежит на нем одна ночь, пусть только вампир — тление — насосет на нем багровые пятна, сомнет его своими ледяными перстами, и кто узнает тогда в обезображенном облике вчерашнего товарища? Через три дня это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, будет пиршеством червей и ужасом взоров».

Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки; на клинке было написано имя того, кто за миг владел им.

И брус неприметно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке, вращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то!

И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездною: мелькнул — и нет его! Забвение пожирает память, как смерть — существование; но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение феникса из пепла, а забвение — безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям, бездонная и вечно несытая пасть ничтожества. В газетах напечатают: «Такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков». Товарищи когда-нибудь вспомнят о нем между трубкою и стаканом. Потом и память умрет в них о погибшем, или сами они умрут и сгинут: вот и все!

Безотрадная истина!

Прочем, не все имена тонут в забвении. Конечно, не

все! Что ж из этого! Звезды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны неба; слава на воздушном шаре переносит любимцев своих через море веков, но только любимцев, только баловней, а слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза: друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана, ни петли Ваньки Каина. Не успел он взять ее за себя как награду или похитить как добычу. Он был только добрый, благородный, умный человек, каких мало, и храбрый офицер, каких много. Он умер, он умрет весь.

Что же значит имя, сорванное смертью на самом восходе? Имя, ни разу не написанное кровью на знаменах или лучами на скрижалях законов? Имя, которое не таяло песнию на устах красавицы, которое не заставляло биться сердце юноши, не давало важных дум старику? Имя, которое не летало перуном, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора? Словом, имя, никогда не утомлявшее всесветной или народной молвы? Что, если не звук, не возбуждающий мысли, иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесен ветром!

Итак, бедный друг мой, ты осужден судьбою на забвение, на всегдашнее забвение! На ничтожество, на вечное ничтожество! Тяжело говорить *прости* мертвецу, но прощаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он цвел, но забвению мира, которому он был краскою, — о, это ужасно, это несправедливо, сказал бы я, если б не веровал в будущую жизнь.

Правда, ничто не вечно на свете, — не вечен и самый свет. Постареет он и выживет из памяти, забудет знаменитых мужей давних времен. Одряхлает, оледенеет, наконец, сам, и умрет после потомков своих: стихий, существ, деяний, мыслей, и долго будет спать сам без действия, одетый кладбищем природы, как саваном, покуда голос бога живого не воззовет его из лона смерти и, очистив ку-

пелю вод или пламени, не благословит на новую жизнь.

Не все ли ж равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря? Он лопнет, и прощай портрет наш; свет разрушится, и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей. Все божеское и человеческое сольется в одну неделимую, хаотическую толщу, над которою только око провидения прочтет надпись: «Припас для будущих миров».

И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой, равенства, которое как меч Дамокла грозится пасть на все живое. Миг или миллион лет — одно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует.

Ты скончался для мира, и в тот же миг мир кончился для тебя, исчез со всеми своими радостями и обольщениями, — зато со всеми бедствиями и муками. Грезы счастья и величие не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без терзаний.

Зачем же закинуто во все сердца желание продлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами, воин умирает на щите или святой отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою? Для чего, если не для памяти, не для славы? Под тысячами различных предлогов кроется это желание, но оно врождено человеку и всеобще всем народам, а и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной, или неразгаданной, или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему, любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивная, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев

своих в души потомков, как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чувствуете ли вы, сколько отрадной поэзии в этом томлении, в этой страсти человека к отдаленной, но дорогой взаимности не знаемых им поколений, родственных ему только по душе? сколько святыни в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего, кроме примера? И почему знать: может, эта живая, электрическая вязь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего, скуется до самого неба и каждый раз, когда провидение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов и прежних светлых открытий, — может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников, зачателей всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творения.

Лестная мечта!..

Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Ужели звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотвержение дружбы, а не подслушанные светом новые мысли погибнут, и навсегда, потому что они не были славны, не были громки? не повторятся ни одними устами? не отзовутся ни в чьем сердце? О нет, верно нет! Прекрасное, сильное, светлое — прекрасно, сильно, светло во всех размерах! Ты не исчезнешь без следа, без тени, без отголоска, благородный, несчастный друг! Горы Кавказа отражают грохот перунов и говор соловья. В море так же ясно видится вечное солнце, как и перелетная искра. В сердце человеческом есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихорь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету, и счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманят к себе взор и душу красавицы, извлекут хоть один, но глубоко-

кий вздох из груди влюбленного! Вдвое счастлив, если это безмолвное сострастие сердец, кипучих жизнью, с сердцем, давно истлевшим, порадует тень твою или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем, как вспыхивает пламя, когда брызнут на него ароматным маслом!..

ОТРЫВКИ

...Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитает в минувшем гордая, раздражительная душа любого писателя? Есть у него воспоминания — цветы, но есть и воспоминания — раны. И эти раны растрavляются, точат кровь, и опять горят, и мучительно ноют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный зонд любопытства проникает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесенные рукою судьбы, жалом злобы или измены. Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить в беде об улетевших минутах блаженств, перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся? Каково думать в жажде советов или утешений друга: «о, если бы он был теперь со мною!» и находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его гибели? Возьмись только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с тобою или могло сбыться с другими, — и все воспоминания подымутся толпой, званные и незванные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным

чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. Озарены бледным месяцем минувшего, эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску. Есть венки на их черепах, но они подернуты прахом могилы, они пахнут тлением. Есть улыбка, но она ползает как червяк по окостеневшим устам. Как заступ о гробовую крышку, звучит в живом сердце их голос; их ласки обливают морозом... И вы хотите, чтобы я играл костями и пел, подобно Гамлетовым гробокопам? чтобы я писал портреты с мертвецов? чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассыпался в роскошных описаниях, когда существенность моя так бедна, когда у меня нет насущной крупинки радости? Всесильно, разнообразно воображение, когда оно творит из настоящего; но мутен и слаб ключ его, если он течет сквозь могилу.

Я сказал, есть воспоминания-цветы, но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце. Отрывая их с корня, чтобы перенести на бумагу, мы разрываем сердце, и ни свои, ни чужие слезы не оживят этих цветов теплого края под холодом светским, не заживят ран осиротелой почвы.

И свет назовет эту тяжкую исповедь сказкою, если автор облечет свои страсти в вымышленные имена, и не поверит ей, если он признается в былинке, под собственным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшая похвала гению — «как он мастерски прикидывается чем захочет! как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства!».

И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как сплести ябеды, как точить приветствия, как печатать ситец. О, если б люди могли, не говорю — почувствовать, не говорю — рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что, может быть, он пишет кровью и слезами и что на страницах, внушенных тоскою, еще трепещутся

обрывки его сердца, как некогда трепетали куски Геркулевой кожи, напропитанной ядовитой мазью одежды, присланной ему коварною любовницею, — то, как ни себялюбивы они, как ни любопытны, как ни безжалостны люди во всем, что сулит им новую забаву или чудное потрясение, а решились бы упросить поэта молчать, все еще жадничая его рассказов. Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспаленные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания; но еще тяжелее, гораздо тяжелее, ужаснее, выражать все это, с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушия или, что и того хуже, стоптано невежеством в грязь. И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соразмерять выражение своих чувств с их понятиями. Надо раболопствовать правилам языка, потворствовать моде, ползать у ног приличий, подбирать падежи и созвучия, когда бы я хотел выразить себя ревом льва, песнию вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелою, увлечь бурным водопадом, — и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моею радостью и замерзали ужасом вместе со мною!

Не могу я *так* выражаться, а *иначе* не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами.

Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух, когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участию дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких громад, в живописном бес-

порядке разбросанных, наваленных одна на другую! Как эти горы, изорванные волканами и потопами, рассеченные ущелиями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это печаль поэта: там гордая душа, как снежногровая гора, скрывает в облаках чело свое! Там, в глубине, кипит живой ключ юного чувства! Там, во тьме пещер, сверкают очи и зубы алчной гиены, — это совесть! Постойте: слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния?.. И сколько чудных, но диких, но и безыскусственных красот может представить слог, выброшенный прямо из души? Зато по нем нет стези для обыкновенного читателя. Его стремнины разлучены друг от друга на прыжок льва, на перелет орлиный. Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их. Лишь он может бродить мыслию по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия — и душою отдыхать у надгробия собственного сердца!

Но сочинять для света!.. И еще для нынешнего света! Тяжкая служба. Имя сочинителя более требует наличными, нежели дает в обетах. Знают ли те, которые с таким добродушием верят похвалам приятелей и собственному самолюбию, и те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо, — ведают ли они, сколько надо испытать, перечувствовать, передумать, поглотить учености, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа, который соединил в себе всю причудливость младенца и взыскательность старика? Чтобы расшевелить притупленный вкус, который не знает сам чего хочет, но все знает и всего хочет? Угодить, удовлетворить жадной страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному? Надо целые скалы дарования, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слез, реки слез, крови, море крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно

поранить, чтобы тронуть, испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невиданным зверем, или сверхъестественным лицом, или необыкновенным чертом, если желать увлечь за собой этого избалованного зеваку. Надо ограбить рай и ад, оборвать лучи с солнца и наслаждения с земли, стопить в одно все язвы Египта и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птенец твой? брат твой? или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь жизни? Нет, он твой враг природный, твой непримиримый враг. Он будет смеяться над тобой, поглощая твое же сердце, принесенное ему в гостинец, и выбросит собакам критикам объедки твоего полубожеского мозга.

Писать, печатать для света, предавать себя тиснению! Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся все мытарства, ожидающие дерзкого искателя людской похвалы. Вчерась он был властелином своих мечтаний, — потому что не пускал их в люди. Сегодня напечатал их — и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды и пошлых острот какого-нибудь чесоточного журналиста; трепещет лукавых толкований на свои невинные выходки. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову; друзья бегут как от клеветника; враги становятся гонителями. Еще вчерась он был отличный офицер, дельный чиновник, смысленный человек. Сегодня типографские тиски выжали из него все общественные достоинства. Он сочинитель! он поэт! Это значит: он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери: на его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и черные небылицы. За милость разве будут звать его полоумным. Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но, право, не зол, — именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки, его суждения, и если он любит недолго, зато любит горячо.

Пользуйся же его любовью, покуда не спала пена, будь халифом хотя на час, упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностью прекрасных. Ты не искал, а нашел все это: почему же не взять процентов радостями жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Сдайся на приглашения — и ты баловень лучшего общества, ты званный, желанный гость за столом знатных и в гостиных большого света!

Знаете ли ж вы, милостивые государи, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его, что поэт, гость высшего круга, — его игрушка? Неужели думаете вы, что я довольно прост или столько самолюбив, будто возмечтаю, что меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы? Знатным хочется прослыть меценатами за дешевую цену; им любо посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению: и я, второй Исаа, продам свое первородство за блюдо чечевицы? И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд? Стану кувыряться и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны? Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это — давать себя напоказ, как слона, откупоривающего бутылки, — с тою только разницею, что плату за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову?

Правда, обаятельна атмосфера большого света; лепет гостиних игрив, как музыка Россини. Но эти раззолоченные стены сложены из обломков Китайской стены самых вздорных предрассудков. Но этот скользкий паркет выложен причудливыми условиями; этот потолок расписан картинками мод, — и горе тому, кто решится покормить своею особою лакомое любопытство исключительных обывателей этого мира! Смешна будет его роля для других, жалка доля его для самого себя. Что принесет он в жертву этому египетскому богу, крокодилу, кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья? Он не поймет языка,

которым говорит мода; он не знает тех важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизни на изучение, — для того чтобы умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостиной. И вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Это все наживки удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. И вот его потчуют пережеванными приветствиями, сводят на спор с каким-нибудь шутком, мистифируют в глаза, а чуть он за двери — давай расстреливать бедняжку вслед отравленными стрелками злословия.

— Какие допотопные приемы!

— Да-с, это древнее петербургского наводнения.

— Говорят, поэзия — язык богов, а вы из их семьи, графиня: удостойте перевести для нас, простых смертных, о чем говорил он.

— Я не химик, князь: не умею разлагать туманы.

— Мудрено ли, впрочем, графиня, что он так таинствен! *C'est une sommité littéraire*¹, а верхушки гор всегда облечены туманами.

— Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями.

— Если не видеть, по крайней мере испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад.

— Скажите, ради имени Виктора Гюго, к какой школе принадлежит этот господчик? к горной или к озерной?

— К болотной-с. Он родился на тундрах новгородских.

— Это и заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского словаря.

— Вы ошибаетесь, барон: наш поэт вовсе не водян. Скажите лучше, он чересчур пылок, и вы скажете правду.

— Сухая трава быстро загорается; зато и гаснет вмиг.

— О нет, барон; поэт живет пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал он мне об искрах очей, о зареве страсти, о пожарах души!..

¹ Это литературная вершина (фр.).

— Что я бы представил его в брандмайоры, не правда ли, княжна? Такой несгораемый человек, без противопожарного прибора, — находка для пожарной команды.

— Смейтесь, смейтесь, а все-таки огонь — его стихия, и вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи «Капризов Валерии».

— В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр, княжна!

— Вы предупреждены, барон: он давно состоит в списке редкостей и отпущен только в отпуск из кунсткамеры.

И это еще цветки модного злословия. Еще тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немножко — и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг данью в альбомы, подточит веру во все прекрасное сомнением, отравит любовь твою догадками, ответит взаимность насмешками. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным... и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь молить свет о полном забвении, как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет все, кроме твоего имени. И это имя обратит он в укор. «Ведь читали же когда-то этого*** ва!» — скажет он; или: «слава богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтер Скоттом!»

И эти вздорные толки огорчат тебя — тебя, напоенного сладкой росой небес? И булавки изорвут твое сердце, не разбитое под молотом судьбы? Стыдись! Не тебя отдаю я свету, а свет тебе. Люди обыкновенные созданы для забавы умных: играй же ими в шахматы, выжимай из общества краски для палитры своей, собирай оброк с его странностей, с его нелепостей, с его причуд и пороков. Но если ты хочешь быть ровней с знатью и наслаждаться мелкими приятностями лучшего общества не в лице искателя, а в виде товарища, — единственное средство узнать таинст-

ва палат, услышать речи их жильцов без прикрас, заставить лица без румян, а сердца без манжетов, — то стань богат.

Что слава? Яркая заплата
На бедных рубищах певца.
Нам нужно злата, злата, злата!
Копите злато до конца.

Проклятый металл, это золото, неутоляющий напиток ада! Напрасно промысл схоронил его глубоко: мы нашли средство вымучивать его у земли руками преступников для новых преступлений. Добытое каторгою из тьмы, оно каторга для света. Каждый раз, когда червонец касается моей руки, мне кажется, он сообщает ей свой гальванизм. Правда, на нем нет и не может быть ржавчины, — но сдаётся, будто он сыр тяжким потом, будто каплет кровью, мерцает, как зрачок лукавого. Не золотое ли было яблоко грехопадения? Не оно ли, разбившись в блестящие кружки, раскатилось по свету! Пусть судьба кидает их на драку толпе, как орехи мальчишкам: я не нагнусь ни за одним. Скажите, на что мне это золото? Я не богат, но, любя роскошь, умею и умерять свои прихоти, потому что легче стерпеть отказ от собственной воли, чем от чужого нехотения. Верю, что многие имеют много, — никто доволен; зато верую твердо, что богатство состоит более в желаниях, нежели в обладании. Вы говорите, золотом можно наместить дорогу куда угодно; им можно купить людей. Вы делаете слишком много чести людям, друзья мои: стоит ли покупать простую грязь за золотистую грязь? Стоит ли платить золотом, за что не дал бы я железного гроша? За улыбку, высиженную зевотою? За пожатие руки, привыкшей к взяткам? За поцелуй Иуды с руками *à la folle*? Люди готовы продавать, продавать друг друга и сами себя; жаль, что я не торгаш и не покупатель тел и совестей, и, признаюсь, по самому верному расчету: тот, кто отдает себя напрокат за деньги, не стоит денег. О, я знаю людей! знаю до подноготной. Плюй им в лицо, только золотом, и

они станут тебе кланяться. Да по мне уж менее презрителен тот, кто подличает из барыша, нежели тот, кому лезть и ползание нужны как хлеб насущный.

А между тем золото — солнце большого света: только в его лучах замечают достоинства, только в его призме исчезают недостатки. Блесни оно, и ему навстречу все зачирикают, как пташки, и лица красавиц распускаются улыбкою. Невольно увлекает сердца и головы вихорь золотой пыли. Золотой мешок — идеал красоты, колодезь ума, Протей любезности. У богача все мерзости — извинительные, все ошибки — образцовые, все дела достойны подражания, а слова — памяти. И постичь я не могу и ничего глупее в мире не нахожу уважения людей к богатству. Уважайте ум, любите остроумие: один учит, другое веселит вас. Уважайте силу, — это естественно: она может защитить или истребить вас. Но ради самого Маммона скажите, что даст вам богач за ваши униженные поклоны, и умильные облизни, и одобрительные усмешки? за все ваши поддакиванья и наглую лезть? Что? Стол его без прибора для тех, которые целят пообедать, а не лакомиться. Круто его крыльцо для чахоточной груди искателей покровительства. Крепки затворы сундуков: кошелек завязан гордиевым узлом на ссуду. Сердца не размочить и слезами. Оно — глыба земли, из которой не высечешь огня, не источишь воды и не вырастишь макового зернышка. И пусть я стал подобным этому истукану — богачам; и пусть я топчу всюю тяжестью золота прежних своих совместников; мне поклоны гордецов; мне ласки милых; для меня зажигаются лишние свечи на вечерах, лишние искры в глазах невест; для меня тратят, наконец, все ласкательства, приготовленные для гораздо важнейших случаев; но скажите, куплю ли я на звон денег вместе с чужими ласкательствами веру к ним? Я был, я жил в этом свете: он видел меня — и не заметил. Красавицы меня слушали — и не оценили. А я был тогда свежее умом и на лицо, был добрее, чувствительнее, пылче. Я готов был обожать, обо-

готовить их, отдать за их любовь не дрянное золото, а кровь сердца, покой души, самое небо.

И все это миновало! Не воскресить юности дождем Данаи. Прочь, змей-искуситель, прочь! Ты мог бы обольстить меня в моем раю, в моей юности; но теперь — уж поздно. Не верю я светской дружбе, — еще менее светской любви; дружбе, которая ступает с гривны на гривну; любви, прилетающей не иначе, как на бумажных крыльях из банковых билетов. Не верю и славе, которая разбегается врозь или улетает парами. Теперь дорылся я до грязи, которою питаются корни лавра и мирта, так гордо играющие в воздухе. Теперь я видел страшное лицо истинное без покрова. Страсть к богатству, змей-искуситель, язви меня в пяту: она на голове твоей! До сердца моего тебе не достать.

Но неужели в этом мире нет ума, чье одобрение лестно поэту? Нет сердца, чей вздох тебе отраден? И поэт, ты схоронишь в землю дар небес, талант свой? И человек, ты выбросишь душу в пустыню без сочувствия? Неужели не одушевляет тебя мысль, что пылкий юноша за чтением твоих чарующих страниц забудет урок свой, светский человек — званый пир, красавица — час свидания? Что твои вдохновенные творения зажгут светлые мысли в голове еще самому себе незнаемого поэта, очистят огнем своим душу власто- или корыстолюбца, пробудят сладостные, святые чувства в груди невинной девушки?.. Может быть, она задумается над твоими мечтами, и ее прелестные томные очи наполнятся слезами, и она вспомнит тебя со вздохом, и тонкий жар, проникающий весь ее состав, вспыхнет на сердце мыслию: «Как страстно любит он! Как, должно быть, приятно быть так любимой?.. О!»

ВТОРОЙ ОТРЫВОК

из дневника убитого офицера

Вы хотели этого, жестокие друзья, — и я увидел ее, да! я был с нею, я обворожен ею. Но разве не видали ее вы? Разве не было у вас очей, чтобы любоваться красотой Лилии, или ума — постичь, или сердца — полюбить ее? Счастливые слепцы! Хладнокровные... Нет, мало этого, — бескровные счастливцы! Вы знаете Лилию давно и можете преспокойно, пребеззаботно спрашивать товарища: «не правда ли, она недурна?» — точно так же, как вы бы спросили: «не правда ли, что этот фазан недурно зажарен?»; можете произносить ее имя, не трепеща от удовольствия, не бледнея от ревности! И все равно для вас, скажет ли он *да*, скажет ли он *нет*, и как произнесет он свое *да* или *нет*; все равно, если тот и ничего не ответит. Недурна! Только *недурна*? Боже правды, можно ли так бессмысленно играть словами? Неужели прекрасное — лишь отсутствие недостатков? Неужели ангельскую прелесть можно заключить в эту грязную черту отрицания? Недурна! Жалкое наречие привычки!

И между тем где сам я найду слов девственное снежного пуху, еще не запятнанного прикосновением к земле? где возьму имен, достойных ее, не растленных еще дыханием человека? Что сделали мы из всех выражений удивления, страсти, нежности? Ожерелье распутницы! Ковер для вытирания ног! Поэты, поэты, сколько драгоценных жемчужин распустили вы в дрянном уксусе! сколько звезд утопили в луже!

Да если б даже слова были краски, а живопись была зеркало, мог ли бы я дать этому лицу жизнь и этой жизни душу? Нет, Лилия, ты невыразима! Тебя нельзя забыть и невозможно вполне припомнить.

Скажи, ровесница цветов, когда успела ты украсить свой ум такими здоровыми познаниями? как умела сохранить на сердце самый пух невинности от налета ранних

пташек — обольщений? Эти воробьи расклеывают чувства светской девушки не в плоде, а в почке, распаяв воображение пряностями похвал, слогом модных романов, вихрем танцев. Скажи, по какому счастью не разучилась природе в большом свете, который есть ложь и притворство во всем, начиная с нежности молодой маменьки, спешащей по Невскому, с эмалевыми часами на руке, кормить грудью сына, до скорби знатной дамы по муже, вымеренной длиною траурного хвоста, — в свете, где приветы, и слезы, и улыбки выучены наизусть, примерены к лицу заранее? Ты не так, Лилия? Покорная влиянию минуты, ты смеешься от сердца, не прячешь и не выказываешь слез умиления, не запрещаешь себе краснеть от удовольствия. Ангел, сосланный на землю, чтобы убедить неверующих в добродетель с красотою, можно ли узнать твою душу и не полюбить тебя?

А я? Странно, непостижимо это, едва ли вероятно; мой первый взгляд, упавший на Лилию, был уже лучом любви, как будто я увидел ее сердцем, а не глазами! будто не зрение отразило ее милый образ в душу, а душа зажгла его на чувствах! Казалось, он очнулся во мне из магнетического сна и расцвел вдруг из неясной мечты в живую действительность. Не мое ли сердце было его отчищено? Так коротко знаком и родствен мне этот пленительный образ. Миг, в который я взглянул на Лилию, обдал меня всею свежестью первой встречи, всей отрадой желанного свидания. Он был нов и таинствен, как надежда, а между тем сладостен, как награда. «Увидеть» было близнецом «полюбить», — но какое сравнение передаст неделимость, одновременность этого чувства?...

И тихо, отрадно, торжественно было это мгновение; да! тихо, отрадно, торжественно, как миг восхода солнца, когда оно каплей света чуть брызнуло на край востока. И ярче, каждый миг ярче растекается по небу эта лучезарная капля, блещет, зажигает небосклон, объемлет и пронзает землю лучами, топит ее в волнах тепла и света. Так

взошла в моей душе роковая звезда этой страсти, не слышима, чуть видная при восходе, светлая и пламенная потом. Теперь стоит она на своем бестенном полудне, и никогда, никогда не сойдет она с полудня. Одна смерть будет ее вечером; ее закат — могила; ее могила — вечность. Жизнь моя прервется ранее любви... Дайте мне уверовать хоть в это. Неужели и та жизнь обманчива, как здешняя?..

И зачем я так часто бывал, так долго беседовал с Лилией? Зачем вниманием крепил на себя чары ее слов, упивался огнем ее глаз — огнем, затепленным прямо на солнце? И сколько раз с орлиною дерзостью хотел я взглянуть в них, — хотел и не мог! А между тем у ней очень кроткие взоры: они не пронзают, а только ласкают сердце, и, как ароматная слеза, канают в глубь его. Индейцы верят, будто жемчуг рождается от капель дождя, запавших в морские раковины; и почему ж нет? Я сам, как ревнивое море, берегу и лелею в тайнике души драгоценные для меня взоры Лилии. В них мое сокровище, в них единственный подарок милой, и могу ли ожидать, посмею ли требовать большего, когда я трепещу промолвиться роковым объяснением! И к чему послужило бы оно, что могу я высказать ей словами, если она не поняла моих взоров?

Мне казалось, однако ж, эта задумчивая грусть, этот летучий румянец, этот голос, прерванный вздохом... Нет, Лилия, нет; все это мечта самолюбия. Ты не должна, ты не можешь любить меня: природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Можно еще умолить людей, можно покорить себе обстоятельства, но самый огонь неба не силен спаять булата с амброю. Никогда любовь, какой я жажду, не зажжет твоего воздушного состава; не кровь, а свет льется в этих жилках; твоему сердцу не вместить и не вынести всех мук и восторгов страсти. О, не понимай моих взоров, Лилия, не угадывай моих желаний, и да сохранит тебя небо от роковой ко мне взаимности! Нежный цветок

Севера, ты увянешь под моим знойным дыханием. Я истерзаю тебя ревностью, истомлю своими бешеными ласками, сокрошу в объятиях, поцелуями выпью жизнь. Несбыточной мечтою была моя дума, будто я могу быть счастлив твоею безмятежною любовью, Лилия; будто моему усталому, разбитому бурями сердцу-горюну отрадно и сладостно будет забыться дремотою на груди подруги, зыблясь на ней, будто в колыбели младенец. Прислушиваясь к твоим мыслям прежде слов, любуясь душою твоей прежде лица, я воображал иногда, что мои мятежные чувства уникают под твоими ясными взорами, как злые духи под кропилом, что я дышу твоим спокойствием, вкушаю какую-то неведомую тихую негу. Тогда очарованный круг прелести, обнимающий тебя, горит мне венчиком святости, перед тобою тогда я благоговею, как в храме. Но вдруг придавленная на время лава прожигает снег, увлекает, пепелит сердце. И отчего все это?.. отчего? От ресниц, стыдливо опущенных, от косынки, спянутой ветром, от колебания локона, который то гасит, то раздувает румянец щек, от ножки, бегляночки из-под платья. О, тогда кровь моя пенится и брызжет в голову, как шампанское, падучие звезды крестят в глазах, громко бьются все пульсы! Тогда я готов упасть к ногам твоим, как преступник, готов броситься, как зверь на добычу, и сжечь тебя поцелуями, задушить на сердце! И потом я впадаю в какое-то неизъяснимо сладкое изнеможение, в доброту без границ. Каждое дыхание принимаю я тогда как подарок; могу снести обиду без гнева. Ты говоришь мне, Лилия, и твои слова звучат словно родная песня на чужбине. Ты поешь, и я слушаю со слезами то, что поешь ты с улыбкою. Уходишь, и я гляжу вслед тебе с грустью, но без тоски. Ты здесь, и я чувствую твое приближение не слухом и не глазом, — нет! какой-то магнетический холод пробегает по телу, какая-то радость по сердцу; оглядываюсь — это ты, Лилия, легкая, прелестная, неуловимая, подобная видению прерванного сна поэта!..

Нет, Лилия, ты лучше всякого сновидения; я ненавижу этих чародеев, этих коварных Армид! Они бог весть куда заносят сердце в мыльном своем пузыре, мыкают его сквозь тридевять чудес и высаживают на берег, на котором все возможно, кроме полного наслаждения, где счастье убегает уст, как волны сураба. Добрая ночь! — говорила ты прощаясь? Но думала ль ты, Лилия, так невинно, младенчески произнося эти слова, что они падут семенами бури в грудь мою? Счастливица! ты не ведаешь, засыпая без тоски и пробуждаясь без сожаления, сколько раз твой милый образ прилетал возмущать мою душу! какие блестящие и ужасные мечты лелеяли и топтали мое сердце! То одеяло тяготело надо мной как свинец, то постель волновалась как море, то изголовье дышало пламенем. И все ты, Лилия, носилась перед очами души неотступно по черной туче ночи и сквозь алый полусвет зари, ты, очаровательница, со своей холодной красою, с кудрями, веющими около словно колосья северного сияния, с улыбкою словно луч месяца, играющий по льду, с голубыми вечно кроткими очами...

Но я пробужден жаждою, неутолимою жаждою неги... Куда ж ты скрылась, Лилия? Где ж найду ответ любви моей? Воля моя не сблизит с тобою; самый сон не может придать тебе пылкости. Внушать, а не делить любовь рождена ты, а я хочу целого Юга, целой Африки любви. Не для меня мерные ласки, не для меня счетные поцелуи. Жажду пить наслаждения через край и до капли, — пить не напиться! О, дайте мне черных, бездонных глаз, которые поглощают сердце в звездистой влаге своей, дайте уст, которых ароматное дыхание упоет пламенем, дайте вздохов, освежающих лучше ветерка в зной лета, дайте слез восторга, сладких, как роса медвочная, и отрадных, как спасение друга, дайте поцелуев, которые расплавляют кровь в нектар, улетучивают тело в душу, уносят душу в небо!.. долгих поцелуев с трепетом страсти, с нежными угрызениями! Испытала ль ты, Лилия, всю сладость по-

целую, эту высокую поэзию чувств, это девственное, хотя не душевное наслаждение, не отравляемое ни страхом, ни раскаянием, — наслаждение, в котором сливаются все заветы и обеты любви, все надежды и воспоминания блаженства; миг, в который ощущение разнообразно, воздушно, как мысль, и сладостно, как самозабвенье; святыня, которую творец подарил одного человека? Да, Лилия! полюби меня, как я люблю, и ты поделишь со мной эту роскошную тайну, сердцем на сердце, сбросив прочь все украшения, кроме своей стыдливости. Новый Прометей, я передам тебе огонь, похищенный с неба, и каждая искра его вспыхнет на тебе новою прелестью. Второй Пигмалион, я...

Я безумствую. Скорее можно одушевить мрамор, чем лед!..

Впрочем, у полюса не бывает лета: зато есть вулканы!..

Тихие воды глубоки!

Что, если?..

Пустая надежда — родовое имение глупцов!

Молчи, молчи, бедный разум.

Сентября, — дня, 1834.

Крепко устал я. От ночи до ночи не слезал с коня. Фуржировка была очень удачна; мимоходом спалили три аула; раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шапсуга из пистолета; он кинулся на меня с шашкою, но заряд иголок вместо пули прошел кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку, Адли-Гирею. «Надо бить зверя, не портя шкурки», — говорил он; чертовская расчетливость!

Насилу дочел сейчас четвертую песнь Дантова «Paradiso»¹. Отчего так пышен твой «Ад» мучениями и так скупен твой «Рай» иносказаниями, padre Dante?² Не оттого ли разве, что имя Лилии вкрадывалось везде вместо Беатрисы

¹ «Рай» (ит.).

² Отец Данте (ит.).

и ее глазки сверкали между стихами твоими? Не хочу верить проклятому англо-итальянцу, который доказывал, что Дант под заглавными В son ICE¹ подразумевал владычество Австрийской империи (ведь он был проповедником и пророком ее в своей родине!). Едва ли тот, кто написал:

Beatrice mi guardó con gli occhi pieni
Di faville di amor, così divini,
Che, vinta mia virtù diedi le reni,
E quasi mi perdei con gli occhi chini.

Беатриса глядела на меня очами, полными столь
божественных искр любви, что моя твердость
предалась бегству; даже потупленные взоры ее
меня мертили! —

едва ли, говорю, он мыслил об отвлеченностях и посылал свои огнепернатые стрелы на ветер! Впрочем, воображение поэта всесильно: оно претворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пестрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голodu зубы на слитке.

Вследствие сего я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок, — а этот человек едва ли не сам я, — что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты, и что на земле милее кругленькая Ангелика, нежели недоступный неосязаемый ангел.

Кстати об аде: научите меня, почему география человеческих предрассудков заключила его в сердце земли? О самолюбие, самолюбие, где ты не повторяешь себя! в чем не находишь своего микрокосма и тождества. Однако ж и рай в сердце человека, а он ищет его над головою.

...Отдай мой рай, отдай мой ад,
Отдай мне молодость назад!

¹ «Б» с окончанием «иче» (ит.).

Кто мне даст голубиные крылья слетать на темя Кавказа и там отдохнуть душою? Не знаю сам, отчего к ним жадно стремятся мои взоры, по ним грустит сердце. Не там ли настоящее место человека?.. Там он не на земле, но уже выше земли, в природе, но уже обнимает природу сверху и широким обзором. Хребет гор — достойное подножие человеку, достойный порог небожителей. Но взгляните туда, — только в девственной ризе снегов дерзает земное величие всходить на небо: прекрасный иероглиф довечного завета, что только чистой душе дано вкусить неба, душе, которая смогла оледенить пары земных страстей священным холодом благоговения, убелила их раскаянием и молитвой и превратила твой тленный венок из земных наслаждений в лучезарное сияние мысли, в царственный венец, осыпанный молниями откровения!

Нет, я не достоин вас, главы Кавказа! Моя одежда не снег бесстрастия, а грозное облако...

Но орел ширяется выше туч, а он младший брат моей мысли: ей нет высоты недолетней.

Я ваш поклонник, если не гость, любимцы солнца! Вам дарит оно первый росистый поцелуй и последний прощальный взор свой. Вам и я посылаю приветы по заре и по сумеркам; вами любуюсь, когда золотое солнце и звезды серебряные горят на голубом щите неба.

Свежи цветы твои, Кавказ, живительны ключи, дубровы тенисты; но не одно величие твоих огромов, не одна прелесть растений, не только удалство твоих детей заманивают к тебе: нет, пытливый ум любит тебя как приют столь дивных тайн, столь высоких дум!.. Воображение силится понять рев водопадов и шепот пещер, разверзающих как сфинкс гортань свою, хочет выкопать из циклопических гробниц имена стлевших там героев, взглянуть, в туманном зеркале древности, в лица давно мельк-

нувших поколений, может быть предков наших, и жаждет прочесть на изломе скал, брошенных как надгробья над веками хаоса, чудную летопись мироздания.

Гляжу на перламутровую цепь гор — и не могу наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада, опрокинутое на землю, обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра. Холмы — бархат ковров хорасанских; ледники, граненные как хрусталь воображения; зубчатые, волнистые вершины — прелестная корона земли, затаившая в себе все звезды ночи, все рубины зари, все золото солнца, сродненные во что-то неизъяснимо прекрасное, и это что-то сливается с синью небес, мерцает сквозь дымку отдаления, — и вот исчезло, и вот возникло опять бледной радугой облаков, — и не облака ль это столпились горами? не горы ли разлетаются подобно парам? Все так неясно, так неопределенно, так безгранично: высокий идеал романтизма!

Очень люблю Кавказ, люблю мою родину, люблю тебя, Лилия, — и как люблю! Но в созерцании гор, — не знаю, чем это делается, — сплавлено для меня все мое бывшее, настоящее и будущее. Вот кажется, бронзовый конь Петрова монумента гордо скачет передо мной по утесам, и звезды брызжут из-под копыт. Вот величавый Кремль вырастает из холма, и муравленные, узорчатые башенки его распускаются в высоте золотыми маковками. А там, а здесь, вблизи и вдалеке, перед глазами и в сердце, опять ты, очаровательница, — всегда ты!

Но печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. Для меня вчера и завтра — два тяжкие жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце упадет прахом: я это предчувствую; недаром бой часов по ночи стал будить меня иногда, словно стук заступа в гробовую кровлю. Заснуть навек, умереть? Так что же! Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом... Обнаженная жизнь моя — такой же остов, как она сама; живой, я свыкся уже с ночью и с сыростью могилы.

Тому красна жизнь, у кого настоящий миг плавает всегда в радостях, как роза пиршества в благоуханном фалерне, у кого перед очами летает вереница надежд; а у меня одно забытие — наслаждение, одно сомнение — надежда. Провидение дает человеку в пору счастья удовольствия, а в пору злополучия — мечты; но судьба давно пожрала первенцев моего сердца, — а другие изменницы покидают меня сами. Нет услышания моим мольбам, на зов мой нет ответа! Разлука передо мной, и около, и за мною — горькая разлука с родиною, с радостями жизни, с милою душе.

И есть люди, что дивятся моей безрассудной отваге. Да разве не был я храбр, когда еще ценил жизнь, когда желал расцвести, увенчать ее? Что же остается мне делать теперь, когда я презираю существование более, чем сперва презирал гибель? Со всем тем пример самопожертвования и бесстрашия живет долго, заслуга — всегда. Пример — самое красноречивое убеждение и самый одушеворительный приказ. Храбрые умирают скорее и чаще других, но память о них долго хранится в дружинах и увлекает в пыл боя, как обрывок знамени.

Грустно. Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роятся по воздуху и с шорохом падают в Абин... Мутная волна уносит их далеко. Замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги — из зеленого в голубоватый, потом в желтый, в оранжевый, в красный, и облетают. Не таково ль и воображение? Мало ему луча небесного; надобно, чтобы он отражался под известным углом.

В цветущее время Венеции суд и расправа гражданских дел свершалась там только по воскресеньям: пример, достойный подражания и уваженья, сказал бы я, если б не

знал, что одна торговая жадность венецианцев была виной этой выдумки, если б надеялся, что чернила ябеды не запятнают святыни. В самом деле, можно ли достойнее почтить праздник бога правды, как не защитою слабого от сильного, как не карою вредного преступления? Суд не работа, а священный долг перед богом и людьми.

Несчастлива? Ты несчастна? Кто ж после этого поверит всем залогам и вероятностям? Кто бы подумал, что та, которая одним взором, одним словом может осчастливить каждого, не имеет сама крохи счастья! Я, однако, думал, подозревал это. У тебя вырывались слова, пронзающие душу. Среди резвого разговора находили на тебя мгновения невыразимой грусти: я уловил, я угадал это пролетное сдвижение бровей, это судорожное сжатие губ, это задумчивое колебание головы, — они отзывались во мне каким-то болезненным ощущением. Лилия несчастлива! Эта дума вырывает из груди сердце. О, если б я мог переплавить каждую каплю своей крови в минуты благополучия, я бы выточил ее для тебя безраздумно, бескорыстно, и последняя струя моей жизни пролилась бы в холод могилы с благословением судьбе. Может быть, ты украдкою плачешь теперь, и я не могу улелеять тебя в радость, погасить лобзанием очи, горящие слезами, развеять вздохами печаль! Тяжело быть самому несчастным, но видеть тоску того, кого любишь, и не мочь, не сметь разделить его горя — это просто мука! И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня, — ведь сердца несчастливых легко отверсты взаимности, они жадны излиться одно в другое! — чем отплачу я за твою искренность и горячность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на зубок новорожденной любви?.. Пепел и грезы! Нет, Лилия, тысячу раз нет! Будь я даже уверен в тебе, я не возмущу тебя признанием. Твое спокойствие для меня священо. Я ли подарю тебя, взамен житейских горестей, мертвящую

тоскою разлуки, я ль, который падаю под ее терновым венком, несокрушимый прежде под жезлом судьбы! Мне бы отрадно было подать, пожать тебе руку, отклонить, притупить собою шипы на пути твоей жизни, устлать ее любовью, укрыть, согреть тебя душою своей в зиме света, — и что ж? — раз только встретились дороги наши и бегут врознь навсегда. Да будет! Станьте ж непроницаемы, очи мои, как тюремные окна, уста безмолвны, как могила! Истлевай, сердце, без дыма и пламени!

Мило негует роза вешняя с тиховейными ветерками и в благоуханном поцелуе передает им свою душу; а между тем червяк уже подточил ее стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавиц и поклоны корыстолюбцев; но химик наводит на него свои зажигательные зеркала, и звезда земли — голь! Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце, — и на земле уж все мое, думает он, — и вдруг откуда ни возьмись зашипела стрела, ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее как вчера, — и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкою ребятишек!

И вот символы трех идолов, трех летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреду предмогильном. Люди совестливые зовут этих идолов собирательным именем — *счастье*; я буду откровеннее, — или подробнее, — я переведу слово *счастье* словом *наслаждение в трех лицах* — любви, богатства, власти. И каждое из них для нас то цель, то средство, и каждому из них имя — *легион*!

Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор и говорит: «Смотри, любуйся, выбирай: мир богат и необозрим; поклонись мне — и все твое!» Какой смертный

возразит ему: «Vade retro, Satana»?¹ Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасною улыбкою на устах мечет банк свой. Рокковой баламут подобран, но она хочет заманить неопытных. Сонико — и раз за разом падают валеты и дамы на-лево! Первый банк сорван.

Но во всем положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце — яд тлетворный, мучительный, убийственный яд! Распутник скормил душу и силы своей обезьяне, любви, и в цветень жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе схоронил чувственность, для которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник — мечтатель, который без боя дался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев своей Элеоноры. Винолюбец задыхается водяною. Богач-лакомка умирает на рогоже мучеником пресыщения и расточительности. Богач-скупец нищенствует с боязни обнищать и замерзает от холоду, от бессонницы, у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое сребролюбие роскошничает, дает пиры из барышей и, для покровительства, прячет лохмотья свои под батист, пakuет себя в английское сукно; неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик? Напрасно! Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные огарки. Поверьте мне: он мучится каждым куском стерляди, на которую звал вас; зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом, жуют его сердце. Не шамбертенон он их потчует, а своею кровью; наливает — и следит каждый глоток и раскидывает на мыслях, как на счетах, сколько процентов принесет ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет

¹ Изыди, Сатана (лат.).

выпить весь Урал с его песками, собирается проглотить целиком всю Индию, — и что ж? — захлебнулся, глядишь, одним бочонком червонцев, подавился кораблишком, истек векселями — и лопнул, он банкрот! А там мятежный честолюбец гибнет под колесницею или на колесе. А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу. А там завистливый царедворец сохнет на одной ножке, оттого что дождь милостей льется на тех, кто его достойнее; а на беду целый свет достойнее его. А там изнывает в забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал, с комическою горестью видя, что его прежние кадила коптят уже новых кумиров. Но кто исчислит все терзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышения соперника, до бульварного любезника в отчаянии оттого, что у приятеля лучше его бекеш, а у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графинею N? Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку; мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию провидения: мы казимысь всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры, — непременно тем самым.

А между тем есть цветы, девственные как розы денницы. Есть алмазы столь же ясные, как звезды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословием народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они просияли нам радостями невозмутимыми, радостями, каплющими прямо с венца божия, надо самоотвержения для любви, благодетельности для богатства, того и другого для

власти, а то и другое есть два слога любви, любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность.

Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть бrenная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственной, душа живой, бог одушевленной природы. Да, бог: это собственные слова спасителя. И можно ли иначе назвать эту разумную силу, которая заставляет цветок увядать от неги зачатия, велит влюбленному соловью отдавать свои поэмы дебрям, учит кровожадного тигра ластиться, стремится былинку к родной былинке и произращает из них то кристалл, то деревцо, то животное, плавит металл с металлом ударом электричества, внушает неизменное постоянство магнитной стрелке? наконец проясняет души человеческие, созывает, мирит, роднит их, сливает в одно прекрасное, почти небесное бытие? наконец сгибает пути сфер в обручальное кольцо около перста предвечного!!!

И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, не покорствовать такому закону, выраженному пленительным голосом Лилии и ее небесным взором? О, встреча с нею — поцелуй огня с порохом! Я загораюсь тогда как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельную жизнь, и все, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под перстами какого-то ангела звучит и ропщет дивною гармониею, будто огнеструнная лира!

Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира. В тебе, Лилия, нахожу я, напротив, только изящную, возвышенную, прелестную природу. Не весна ли твое дыхание, не денница ли румянец, не горный ли

снег белизна? Разве не отдало небо восточную синеву очам твоим, а взорам звезды — звезды, каких не видал до сих пор «вдовый край Севера»¹. Станешь ли — и легкий стан твой зыблется как облачко! Ступишь — и будто зовешь на бег ветер! Губки твои, эти розовые, лучше, нежели розовые губки — полуразверстые и трепетные, словно чашечка цветка под первым лучом солнца, под утренним поведением зефира! Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвести улыбаю, чтобы выронить, как росинку, слова отрады.

Прочь!.. Не смущайте меня, воспоминания; желания, не жгите! Вы так неодолимо прельстительны, покуда не помрачены обладанием, не убиты опытом — этим палачом воображенья! Долой с моего сердца, холодная его рука! Хочу любить и верить, и для того пусть умру молодой; пусть мечты прекрасного закроют мне веки еще не поблеклым крылом своим.

Да! грустно сознаться в себе и убедиться на других, а надобно: с молодостью умирает в человеке все безотчетно прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая ж радость слоняться по свету собственным гробом и рассказывать о добрых своих качествах, как о покойниках, всегда хорошо? Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований! Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые пути дружбы и неразрешимые цепи любви; да и той я верю только в себе потому, что она томит, сдает, уничтожает меня. Зачем же не уничтожит скорее!..

2 октября. Ночь.

Нет, еще не умерло во мне сердце; ключи его не застыли до дна: порой, оттаянные думою или звуками, они

¹ Settentrional vedovo sito. Dante «Purgatorio» [Данте, «Чистилище» (ит.)]. (Примеч. автора.)

пробиваются наружу слезами и неслышной, но целительною росой падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулась вереница коней с водопоя. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Все будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекличками; нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зарею, — и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золотобронных облаков. Они быстрым лѐтом теснили, преследовали убегающее светило, — и постепенно померкали ряды их: изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет, — и погасал. Наконец почернело все небо, исчезли и малейшие розовые следы заставшего солнца, — и никто в целом лагере не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару; кони рыли землю копытом, ожидая овса. Во мне только голод и усталость придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня — заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте, в каждом заунывном ее звуке!

In questi voci languide risuona
Uu no so che di flebile e soave,
Ch'al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza ..
E gli occhi a lagrimar gl'invaglia e sforza.

В тех звуках томных отзывалось, не знаю,
что-то грустное и усадительное! Они проникали
в сердце, они снимали с него всякое огорчение,
охотили и неволили очи к слезам.

Данте

Плакал и я, невольно и охотно плакал. Слезы утолили душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимее для меня, чем в иное время питье и пища. В такие часы люблю я напевать задушевные строфы Гете и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты Ариоста, Муровы мелодии, даже стихи Вальтера Скотта из «Красавицы озера» или «Последней песни барда». В музыкальном отношении Вальтер Скотт едва ли не выше всех английских поэтов. Я читаю их вслух, и благозвучные рифмы льются тихо и стройно, льются как масло олив, подмывают сердце, и оно лебедем всплывает наверх, зыблется и дремлет, лелеемое волнами звука. Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты, а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей не впору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслию, созвучие — ребяческая игрушка.

Ночь накрыла землю необъятными своими крыльями. Шипучая ракета взвилась высоко, прямо и с ударом рассыпалась блестками по облаку. За ней взревела зоревая пушка, и все ущелия откликнулись ей, стенаая. Затих последний перебой барабана, и все потонуло во мраке и тишине. Только порой вспыхивал кое-где огонек и на миг озарял белые полосы палаток и черные коновязей, или знамена, положенные вкось на барабаны, или рогатки штыков да купы лиц, которые, как духи из Макбетова котла, улетали вместе с дымом и с искрами. Только мерный оклик: «слушай!» обходил дозором по цепи. Многозначительно и спасительно слово это, — и кто ему внимлет, кроме часовых? Враг подкрадывается под душу, а мы спим. Совесть или разум кричит «слушай», а нам лень поднять голову.

Беда, наконец, застает нас врасплох, — и мы давай плакаться на судьбу! Воля у человека не часовой, а востовой — вечно на побегушках для его прихотей, никогда или почти никогда для пользы.

Облака сомкнулись тяжелым сводом. Ни одной звездочки нигде; со всем тем ночь свежа и тиха; ночь, желанная для счастливых любовников. Не знаю, право, кому взойшло в голову расхваливать одиночество ночи, когда она выдумана для взаимных радостей, для пирушек дружбы, для таинственных свиданий любви! Я согласен с Гете: подобно жене, данной человеку в лучшую ему половину, ночь для нас, право, — лучшая половина жизни. Разумеется, я прибавляю к этому небольшое условие *sine qua non*¹, за неявкой которого со вздохом опускаю голову на седло и поневоле делаю пушкинское воззвание к заштатному языческому богу:

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!
Приди, задуй мою лампаду,
Моя мечты благослови.

Назавтра.

Грудь на груди мать сырой земли засыпал я вчера, и она тихо, тихо дышала мне свежестью, между тем как доброе небо растворяло воздух росой, готовя для смертного живительную атмосферу. Сладкий миг забытья сходил уже на меня. Какие-то безвидные, безымянные мечты-младенцы мило лепетали около моего сердца, карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны: оно погрузло в сон глубокий, плотный, крепкий сон, каким могут спать одни праведники и солдаты.

И не знаю, долго ли, коротко ли спал я, только вдруг пробужден был содроганием и гулом земли. Прислуши-

¹ Непременное (лат.).

ваюсь, поднявшись на руку: так и есть — это быстрая прыть атаки! Скачут кругом, рассыпаются врознь, — ближе, ближе, вот стопчут палатку! У меня занялся дух: это черкесы! Я вскочил (ночуем мы всегда одетые) и вооружился. Бужу своего товарища: он спит как убитый.

— Валерия Петрович, слышите ли?

— Слышу, — отвечает он впросонках, — пора и нам, фуражировка сказана в три часа; верно, казаки собираются!

— Нет, это не казаки! Какой черт смел бы строить полки в галоп, и в такую темь, и в лагере, собираясь для тайного набега!

Говорю, а он уж храпит. Я выскочил из палатки... Сердце так и бьется. Все тихо, а ночь темнее, непроницаемее чугуна. И вот опять загудела, загрохотала земля, как бубен, под копытами тысячи коней. Ну вот, кажется, ринулись мимо: хвосты пашут холодом, пена летит в лицо с их удил, шашки сверкают в трех шагах; но почему ж нигде ни выстрела, почему нет дикого крика азиатского натиска, нет барабана тревоги? Неужели могли черкесы тихомолком вырезать часть цепи и решились железом изгубить сонных?.. Постойте! Там, кажется, крикнули: «В ружье!» Нет, это оклик: «Рунд мимо!..»

И тяжкий гром разразился над горами... Молния хлынула морем. А, понимаю теперь, это гроза! Но никогда обман не был так полон и вероятен: я жил долго в горах, а ни разу не видал и не слыхивал ничего подобного. И могли я вообразить себе грозу в октябре месяце? Да еще какую грозу? Ужас! С первого удара целый час не прерывался гром ни на одно мгновение. Он кипел и клокотал подобно аду, сливая в один лютый рев все отголоски ущелий, заставляя трепетать все долины как осенний лист. Когда ж над этим океаном мертвящих звуков и блистаний, раздирающих ночь по всем ветрам, сверкал еще ярче поток молнии, стрелял новый гром с оглушающим треском, — мнилось видеть пролет необъятного ангела разру-

шения с крыльями из туч, следить размахи жар-меча его, рассекающие Кавказ до сердца; мнилось слышать вещий голос его трубы, сокрушительницы мира, призывной трубы к Страшному, последнему суду. В самом деле, всякий раз, что взрыв перуна озарял заснеженные верхи гор, они проявлялись на миг, как толпы мертвецов великанов в белых саванах, — и потом точно стремглав падали в преисподнюю, отвечая леденящим кровь стенанием на грозный удар осуждения, — стенанием таким пронзительным, что лихорадочный трепет пробегал по всем жилам земли и скалы скрежетали от ужаса.

Постепенно холодело и во мне сердце; молнии зажигались снопами по теменам далеких гор и разгорались, как извержения вулканов; буйный вихорь крутил и бросал капли крупнее винограда, а потом воцарялась опять душная неподвижность в воздухе; земля колебалась и звучала под ногой будто пустая. Я невольно вспомнил о последнем дне Помпеи... «Почему ж не погибнуть этому краю от землетрясения и лавы!» — думал я, и думал это не в шутку: гроза бушевала все ужаснее и ужаснее. Никогда и никому не расскажу про думы, которые волновали меня в этот час: люди мне не поверят, а бог меня видел сам. Скажу одно: в ту минуту, когда я убедился, что все меня окружающее должно через миг разлететься вдребезги и в искры, у меня было странное желание, дикое желание — погибнуть вместе с Лилиею, прижать ее в первый раз к сердцу и потонуть в пламени любви и землекрушения!..

К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать верст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожженных нами аулов. Жаль: у меня убили лихого унтер-офицера.

Я тоскую, здесь горечь. Чувствую, что рука судьбы тяготеет на моем сердце, и нет друга, нет родного вблизи, кто бы снял с меня половину бремени. Это одиночество, этот воздух чужбины душат меня, — сегодня вдвое, чем когда-нибудь, — необычайно!.. Шапсуги дрались на славу — отважно, упорно. Много храбрых пало с обеих сторон; много пролилось крови на каждую спорную скалу. Перестрелка на час умолкла: отряд остановился для разработки дороги сквозь неприступные прежде утесы. Задышавшись, весь в поту, насилу вскарабкался я на круть и сел под дерево. Застрельщики мои, раскинутые цепью, улеглись за камнями и кустами, глаза настороже, и палец на курке. Солнце, большое осенью, лишь повременно бросало свои бледные лучи в глубину дикого, необитаемого ущелья, по обеим сторонам которого мы тянулись. Облака стадились по хребтам Маркотча; горный ветер кружил иссохшими листьями; грустная дума запала мне в голову, — грустная и отрадная вместе она была: мне недолго жить, и зачем, в самом деле, разводить водой безрадостную жизнь мою? Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простирал руки к будущему: нет ответа, нет привета. Иногда на прежнее можно купить то, что будет: у меня бездна призывает бездну!..

Глубоко внизу стенал Атакваф, перебираясь по камням, ограниченным вешними водоворотами. Прямо против меня на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утесам; на него укладывали убитых и раненых. Взглянул вверх, — дикий кипарис, опахало мертвецов, простирал на меня венки из ветвей своих, и я вспомнил стих Вальтера Скотта:

O lady, twine not wreath for mee,
Or twine it of the cypress-tree!¹

¹ Не вей, красавица, для меня венка или свей его из веток кипарисных. (*Пер. автора.*)

Везде зачатки смерти, везде кровь и траур... но почему я впервые заметил это?

Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился, но, как немногие люди, живучи узнал о нем. Отравленный напиток — воздух бытия, но в отчизне по крайней мере мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего, — и мягче и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помолился бы за грешную душу мою по-русски. Если ж паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень, — я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипящие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой.

Дитя, дитя! Прах бесчувствен. В гробу снятся сны не из нашего мира!

Но неужели вы забудете, заклеплете в колоду и это бедное сердце — сердце, которому тесно было даже в груди? Учились ли вы физиологии? Знаете ли, что сердце живет прежде всего в человеке и умирает гораздо после? Не вдруг погаснет оно и застынет нескоро. Смерть превратит взоры в лед, а язык в камень; но сердце долго, долго потом будет еще роптать страстию. Зачем же душить его гробовою доскою, зачем отдавать подлым червям на потеху благороднейшую частицу мою? Лучше выньте его и сожгите: пламень был его стихиею.

И развейте пепел по ветру: пускай летает в поднебесье!.. Оно уж привыкло летать в поднебесье.

И, может быть, какая-нибудь пылинка перелетит за моря и сольется с родной землею... О, тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой!

Ничто не гибнет в природе, умирая, — ничто! Не погибнет и лучшая половина меня самого — душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником,

Лилия, твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы! И почему ж нет? Я и теперь, одетый в мятежное тело, обуреваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно; готов купить так же дорого твою непреклонность, как иной твое падение, — теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горючие раны.

Когда ж не станет меня, не ранее как тогда, пусть узнает Лилия, что я любил ее; но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдет она чувств, чтобы постичь, как я любил? Что я отказался от надежды на ее взаимность за ее позднее уважение, что я не хотел напрасными приветами и забегами ни на один миг возмущать ее равнодушия, ее домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастья, — а одно слово, один взгляд ласки мог бы меня осчастливить. Ненасытны, беспредельны были мои желания в жизни, — и я бежал тебя, Лилия; но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолен. Одну слезу, Лилия, — за все мои страдания, — как единственную утешу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви; и пусть за то будет вся жизнь твоя ясна, как эта слеза! Будь счастлива, Лилия... счастлива и за гробом!

Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем.

14 октября.

В один короткий, осенний день сколько разных ощущений! Они наподхват вырывали друг у друга мое сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребления, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шалсуги сегодня в первый раз попытали передавить нас огромными камнями, скатывая их с крутин, — и напрасно; что я оцарапан стрелою в правый бок; что я был

восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от закубанья. Позади тысячи долин и ущелий под чернью теней от гор, под серебром речек, сверкающих от солнца. Впереди необъятное Черное море, со своими уютными заливами, с изумрудными волнами, с утесами, ворвавшимися в их середину. А кругом войны, бросающие победное «ура» на ветер Кавказа в привет знаменам нашего великого царя. И сами знамена шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья.

Теперь следует «зело любопытственное сказание о том, как имярек поражен бысть ужасию велиею, и якса бегу, и о прочем». Не шутя, сегодняшний вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку.

Рекогносцировка для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча. Только три батальона назначены были открыть сообщение с крепостью Г — и привести оттуда на вьюках провиант. Полк наш возвратился; я был послан вперед для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас, так что к взмору у Суджукской бухты достигли мы в потемках. По словам проводника, оставалось еще версты четыре до Г — а, а ночь до того стемнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу; терновник закидывал ее своею колючею рогаткою. Отряд двигался медленно и осторожно: тем медленнее и осторожнее, что надо было побережь раненых, которых везли мы верхом, перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и поминутно слушать однообразный гул рогов. «Застрельщики, стой». Все, что было у нас кавалерии, умчалось вперед, посланные генералом известить крепостцу о прибытии отряда, а голод, а жажда и усталость меня томили. Воображение рисовало вдали ки-

пучий самовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали «там, там в мерцании багрянном», словно райские птички. Милочки летучие рыбы, про которых мне насаказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадрили на масле; как тут не соблазниться? Я подъехал к одному из оставшихся проводников.

— Тюрк-Абат, катнем вперед!

— Аллах койма сын (да не попустит бог)! — отвечал он. — У меня нет заводной головы. Ты лучше другого знаешь, черкесы невидимками вьются около каждого отряда, и чуть удались кто за стрелков — цап-царап, да и на аркан раба божьего!

Я возразил:

— Натухайцы слабее других горцев, и в доказательство тому, что они убрались восвояси, нет ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперед, а уж, конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были.

— Будь их много, они бы, конечно, напали на горсть наших всадников, — отвечал Тюрк-Абат, — а что скажешь, если их какой-нибудь десяток для дозора?

В инструкции полковникам «О кареях против турецкой кавалерии», данной стариком Каменским, между прочими, чрезвычайно дельными замечаниями сказано: «Пехота, которая выйдет стрелков далее восьмидесяти шагов от фронта, может исключить их из списков». Почти то же можно сказать о рассуждении всадников, выезжающих далее восьмидесяти шагов за цепь в сторону, в войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст, все тихо, а попробуйте остаться на полвыстрела от арьергарда, они налетят как вороны, выскочат из дупла как рысь, как гриб вырастут из-под земли. «Все это так, — думал я, — однако ж мне удавались и не этикие штуки. В такую ночь можно уйти от совести, не то что от черкеса».

Тюрк-Абат, как будто возражая на мои мысли, сказал:

— Нет, достум (нет, друг мой); теперь разве на птице можно перелететь до крепости; на лошади — нет.

Во мне загорело ретивое. Я потрепал по крутой шее своего буланого и сказал:

— Послушай, Тюрк-Абат, ваш Магомет был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его надвое, как пятак, и пропустил половинки сквозь рукава своего кафгана, и опять сложил их, и опять повесил месяц на небо. Слова нет, штука недурная. Однако наш падишах выкинул поудалее этой: он сорвал Магометову луну с этого неба и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский. Я не бырышня. Да и не раз изведаль, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один.

— Поехать легко, — возразил хладнокровный азиатец, — но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица: «Жизнь — любовница человеку. Кому она мила, тот ей раб; кому постыла, тот хозяин». Твоя воля!

Le coquin a frappé juste¹. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко, так что когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом: ни души, ни искры; только вдаль за мной раздаются русские песни как неясное воспоминание. Легкий туман чуть подымался; зато безбрежная ночь чернела все пуще и пуще и, казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стременах: нет как нет крепости, — она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои огоньки, — спит себе и не подаст голоса. И вот мне стало казаться, будто пни дерев шевелят-

¹ Плут нанес удар метко (фр.).

ся, перебегают дорогу, разрастаются великанами, все ближе и ближе, и сбрасывают, наконец, свой оптический ряд леших, и давай подтрунивать надо мной, как баловни школьники. Иной щипнет за ухо, другой, подкравшись, тянет долой шапку, третий подставляет ногу коню моему, тот прыщет в лицо холодной росой, и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь Пук или Ариель, защемленный туда за проказы. Лес для меня ожил, населился, заговорил всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетевого шабаша ведъм... И вдруг вдали передо мною брызнула синяя искра — верно, блудящий огонек.

— Эй, приятель! — закричал я ему словами Мефистофеля, — посвети-ка мне на дорогу, чем тебе маячить даром!

Нет, это не блудящий огонек, не светляк зажигает свою искру на листке, это не вечерняя звездочка на краю небосклона: она искрится, разбрасывает лучи, расцветает, — вспыхнула! Бог мой, как это прелестно! Это яркий фалшфейер на люгере в привет братьям русским.

Вообразите себе зажженный яхонт над прозрачною зеленью моря, озаряющий волнистым, дымным, голубоватым светом своим и корабль, на котором сиял, и волшебный круг из двух бездн — воды и воздуха, в которых плавал этот корабль. Казалось, все снасти нижутся дорогими камнями, а самое тело люгера вылиты из цветного хрусталя; казалось, весь он зыблется, трепещется, летит, тонет в пучине взор ласкающего света. И вмиг все погасло, все исчезло. Тьма поглотила берег и море и сомкнула над ними непроницаемую пасть свою. Расширяю глаза, чтоб уловить хоть след милого виденья, направляю туда бег свой, посылаю взор за взором в погоню, скачу; и вдруг конь мой стал, храпя, и, фыряя, уперся, испуганный плеском моря, которого не видал он сроду. Роняю взоры вниз: новое очарование! Все побережье горело фосфорной пеной прибоя. Волны рядами тихо катились на плитный берег, сверкали зубчатыми гребешками своими, ударили

в грудь камней и рассыпались на них огнем и звуками, как поцелуй брата с братом. И каждая рыбка, всполохнутая мною, исчезала в огненном вьюне; и каждая капля, брызнутая с ее живого весла, освещала дно приморья, так что виднелись на нем раковинки, как видны все мысли в глубине души невинной девушки при блеске страсти. Невыразимо прелестным пламенем играли струи этого изумруда, растопленного в сердце природы, и какая-то отрадная свежесть веяла с них... Скажите, мог ли я в такую пору думать об опасностях? Я ехал вдоль берега на волю коня. Говорят, замерзающие, после грызущих мук, впадают в сладкую, неодолимую дремоту оцепенения. Со мной совершалось то же самое... Душа из ледяных объятий света падала на лоно бесчувствия; все чувства растекались забвением ничтожества. Будто сквозь дрему мелькали и хрустели под ногами белые камни, словно черепы на кладбище. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор волн отдавался в ухе, как понятная беседа собратий-мертвецов!

Не таков ли сон вечности? Дайте ж мне скорее морскую волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи. Пусть даже бессмертные звезды, не только смертные очи, туда не заглядывают. Пусть не будит меня петух раным-рано. Хочу спать, долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примиренья.

Но криком войны был пробужден я: как призраки, возникли передо мной черкесы и, восклицая: «Гяур! ай гяур!» — кинулись с обнаженными шашками наперерез. Я обомлел от ужаса: мысль попасть в мучительный плен к этим варварам пробила сердце. Но прежде чем успел я на что-нибудь решиться, мой перепуганный конь вернулся на пяте; я дал поводья, и он, ринутый ими, взвился как стрела с тетивы.

У римлян был закон для воинов: одного врага — победить, на двух — нападать, от троих — защищаться, от четверых позволяется бежать. Я бежал от семерых по край-

ней мере; бежал не смерти, а позорного плена, — и в первый раз в жизни, — но все-таки бежал. Не хочу золотить того, что и полуды не стоит: это был явный пример самовластия тела над волею, и этим еще не кончилось. Я скакал целиком, сквозь терн, через камни и рытвины; и вот, в сотне шагов от места роковой встречи конь мой перепрыгнул через ложе иссохшего потока, посколькунулся на голом камне — и я брык с ним через голову.

Несколько мгновений катясь колесом, я думал отчаянным усилием удержаться в седле. Никакого средства! Конь придавил меня под собою, а между тем крики: «Гяур! гяур!» жужжали за мной вместе с пулями. Лежа, взвожу курок; наконец удастся мне вскочить на ноги, и первым моим движением было приложиться навстречу врагам, чтоб продать им не иначе душу как за душу; но они медлят, они пешком. К счастью, я не выпустил из рук повод. Тороплюсь сесть; конь не дается, бьет, становится на дыбы. Вздор, ты не уйдешь от меня! Полмига после я уже несея во весь опор к отряду; но там ждала меня новая невзгода. Стрелки, услышав конский топот, сочли меня за неприятеля и открыли беглый огонь. Штыки уже сверкали близко моей груди, прежде чем они расслышали мой оклик: «Стрелки, свой идет!»

Это было мое первое, надеюсь и последнее, знакомство со страхом.

Пишу эти строки под кровлею. Как нетерпеливо хотелось мне отдохнуть под кровлею! Удалось — и я жалею о свежей палатке, о ночлеге под открытым небом. Стены душат меня, потолок гнетет; грудь просит раздолья и ветра. В гробу хорошо только мертвым, а эта комната — настоящий гроб.

Четыре дня потом.

Показалась кровь горлом — повестка адской почты! Зовут на получение савана... Не замедлю я, не замедлю! Мне бы не хотелось, однако ж, чтобы Лилия видела меня в таком наряде. Женщины очень любят мундиры, за исключением кирасирского мундира смерти: полотняный колет и сосновые латы не красят человека!

Хочу и не могу быть веселым. Нет сна на мое утомление; нет слез на тоску. Мысль о смерти гнездится в душе; порох пахнет ладаном. А мир прекрасен! На раставанье он, подобно коварной любовнице, удваивает нежность, осыпает ласками, является младенчески невинным, плачет неутешно, не хочет выпустить из объятий. Бессердечная прелестница, что сделала ты с моею любовью? А теперь хочешь возбудить мое сожаленье! Великолепная твоя гостиная была для меня пыталней. Не гостем, а мучеником скитался я на твоих пирах. Не для меня там кипели чаши радостей; все блага обносились мимо.

*Voir n'est pas avoir*¹.

Братья люди, братья Иосифа! один завет вам: не продавайте своего меньшего ни за хлеб в час голода, ни за пряники в праздник. Тяжка ему работа египетская, но вы позавидуете ей на смертной своей постеле.

...Едва ли не Наполеон отвечал на вопрос, какую смерть желал бы он себе: «Самую скорую и самую неожиданную!» Это значит — не надеяться ни на тело, ни на душу. Что за воин, который страшится долгого боя!

Кажется, 23 октября; рано.

Бьют поход! Шапсуги грозно скликаются по вершинам: быть горячей схватке; и я рад этому. Сегодня я бодр и

¹ Видеть не значит иметь (фр.).

весел необыкновенно. Луч утра стопил долой с сердца весь свинец горя; рука сама хватается за шашку. Вид — чудо: заря перебросила уже розовый шарф свой с плеча на плечо горы, а котел ущелия, в котором таится наш стан, все еще темен и дымен; люди бродят как тени по туманному берегу Стикса; обнаженные деревья будто вылезают из трещин, в которых спали ночь. Теснина, кажется, хочет задавить нас в объятьях. Утесы-великаны уперлись грудь с грудью, в плитных латах, заржавленных веками, спустили на нас сердитую реку, завалили все тропки обломками, набили частокол дремучего леса, — и все это вздор для русского. Захотели — и притоптали стремнины в широкую дорогу, накинули мосты на пропасти; и с хребта на хребет, с дива на диво пойдем, полетим на пробой. Догоним мы эти вершины: не спрятаться им в облаках! Мы сами будем сегодня второй раз в гостях у неба.

Никогда еще с таким томленьем не ждал я битвы, как теперь. Кажется, за этим хребтом ждет меня Лилия на условное свиданье; кажется, я куплю ее взаимность моею кровью.

Чего ж медлят? что ж не ревут и не прядают по скалам наши горные единороги? Пора, пора! Страстно хочу я кинуться в пыл схватки: только ее обаятельный вихорь может сравниться упоеньем любви. Были минуты, когда, изнемогая от полноты счастья, прильнув устами к груди прекрасной, невольно роптал я: «теперь бы сладко умереть». Сладко умереть и на груди славы... умереть теперь же, в этот миг!.. Лил...

То была песня лебедя: его желание разразилось над ним его судьбою. Он был убит, убит наповал, и в самое сердце. Его тайны легли с ним в гроб; немногие цветки из венка его мечтаний отдаю я свету. Пусть обрывает их злословие или участие лелеет: ни для друзей, ни для врагов не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему

равно гибельны в жизни; зачем же я брошу в их треволение память друга? А сколько ума, сколько познания насыпано там! Какою теплою любовью к человечеству все это согрето! Но пусть все это не имело бы никакой цены для словесного богатства человека: его действительный быт был лучшим его творением. Душа общества в веселую пору, он не покидал изголовья больного товарища, не спал ночей, ухаживал за ним, как нежная мать, сносил все причуды, как самый покорный служка. Его рука и кошелек были открыты для каждого: никто не удалялся от его порога с тяжелым словом *нет*! Кто вернее его служил государю словом и делом? Кто бывал впереди его в жаркой битве? Одним словом, кто был достойнее назваться человеком и кто носил это имя с большим благородством?

И мы схоронили юношу, возвратясь в Г — н, схоронили в чужую землю, в виду гор, на самом берегу Черного моря. Кровью залилось мое сердце, когда священник бросил горсть земли на гроб его, когда и моя горсть глухим прощанием отозвалась из могилы... Земля поглотила свое лучшее украшение и тихо сомкнула уста. Все кончилось! Все уж было пусто, когда я очнулся от бесслезных рыданий над могилою достойного друга: только море шумело; только ветер уносил к небу струйки фимиама с кадила вместе с облаком порохового дыма от почетной пальбы. «Вот жизнь и смерть его», — подумал я.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни А. А. Бестужева-Марлинского его повести печатались в альманахах, журналах и газетах и были объединены в двух собраниях сочинений. Однако публикации эти были чаще всего неисправны, ибо в отсутствие автора текст его произведений беспощадно переделывался и сокращался. Только в советское время сочинения писателя-декабриста были напечатаны по рукописям автора.

Тексты в настоящем сборнике публикуются по новейшему изд.: Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В 2-х т. М., Худож. лит., 1981 г. В примечаниях использованы материалы предыдущих изданий.

Роман и Ольга

С. 19. Эпиграф — из стихотворения В. А. Жуковского «Алина и Альсим» (1814).

С. 20. *Сотник конца Славенского...* — В древнем Новгороде население делилось на сотни и жило в «концах» — районах.

Посадник — высшая должность в Новгороде.

Вадим — легендарный вождь новгородцев, в IX веке восставший против варяжских пришельцев. О Вадиме писали Я. Б. Княжнин, Пушкин, декабристы, Лермонтов; имя его было символом русской вольности.

С. 22. *Вече* — народное собрание, ведавшее всеми вопросами новгородской жизни.

С. 23. Эпиграф — из поэмы Пушкина «Кавказский пленник» (1822).

С. 23. *Семик* — весенний праздник Троицы, когда рядят березку и водят хороводы.

Кушак шамаханский — из шелка, вытканного в азербайджанском княжестве Шемаха.

С. 28. Эпиграф — из поэмы И. И. Дмитриева «Ермак» (1794).

Готский берег — земли, находившиеся под властью Ливонского ордена.

...любских... — из немецкого вольного города Любека.

Липец — вареный мед.

С. 29. *Алдерман* — член правления вольного торгового города. *Фогт* — наместник и судья рыцарского Ливонского ордена.

Гаральд Смелый (1015—1066) — норвежский король, муж Елизаветы, дочери князя Ярослава Мудрого.

...бирюч — глашатай.

С. 30. *Лядунки* — сумки для патронов.

С. 31. *Двор Ярослава* — место сбора вече.

...князей Василия Дмитриевича и Витовта... — великий князь московский Василий (1371—1425) и его тесть и союзник в борьбе с татарской Ордой великий князь литовский Витовт (1350—1430). Василий стремился ограничить независимость Новгорода и хотел подчинить город суду московского митрополита.

С. 33. *Каменный пояс* — горы Урала.

С. 34. *Скиригайло* — Свидригайло Иван (1354—1396), великий князь литовский, соперник Витовта, уступивший ему власть и затем отравленный.

Наримант — литовский князь, сын Ольгерда; был повешен Витовтом.

Андрей Боголюбский (ок. 1111—1174) — великий князь владимирский, в 1170 году предпринявший неудачный поход на Новгород.

С. 35. *Торжок* входил в состав новгородских земель.

С. 35. *Ферези* — праздничные одежды.

С. 37. *Опашень* — длинный кафтан с короткими рукавами.

С. 39. *Баскаки* — татарские наместники на Руси.

С. 41. *Война с Димитрием* — Донским, великим князем московским, ходившим на Новгород в 1386 году.

С. 43. Эпиграф — из трагедии В. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

С. 45. Эпиграф — из стихотворения К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814).

С. 48. Эпиграф — из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить» (1806).

С. 49. *Двинские области* — колония Новгорода, в 1397 году признавшая власть московского князя.

Люди житые — землевладельцы.

Пятины — пять областей, составлявшие тогда Новгородскую землю.

С. 51. *Орлец* — новгородская крепость на Двине.

С. 54. Эпиграф — из баллады Жуковского «Светлана» (1812).

Ревельский турнир

С. 58. *Ревель* — ныне Таллин.

Олай — древняя церковь св. Олая в Ревеле.

С. 59. *Кружева Арахны* — паутина.

С. 60. *Брандскугель* — зажигательный снаряд.

Греческий огонь — горючая смесь, использовавшаяся византийскими кораблями в морских сражениях.

С. 61. *Под Магольмом, под Псковом... под Нарвою...* — Барон пересчитывает места сражений ливонских рыцарей с русскими войсками.

С. 63. *Орвиетан* — здесь: эликсир от всех болезней.

С. 64. *Ратсгеры* — советники ревельского магистрата.

С. 71. *Риттергауз* — Рыцарский дом.

С. 71. *Герольды* — распорядители на турнирах.

Фрез — воротник.

Далматик — плащ.

С. 73. *Кишвассер* — вишневая настойка.

С. 75. *Дерпт* — немецкое название древнего русского города Юрьева (ныне Тарту).

Фогты и командоры — судьи и военачальники рыцарского Ливонского ордена меченосцев.

С. 84. *Ландрат* — советник.

С. 85. *Вицбетрёйбер* — шут.

С. 91. Эпиграф — из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1824).

Сигизмунд I Старый (1467—1548) — польский король, при котором Тевтонский орден стал вассалом Польши и был превращен в светское герцогство Прусское.

Изменник

Эпиграф — из трагедии В. Шекспира «Отелло» (1604).

С. 99. ...из *Польши царей*... — Московские бояре изменнически отдали русскую корону польскому королевичу Владиславу и в 1610 году впустили поляков в Кремль.

Сапега Ян (1566—1611) — польский военачальник, в 1608 году осадил Троице-Сергиеву лавру под Москвой. Героическая оборона монастыря отражена в летописях.

Борис Годунов (ок. 1552—1605) — русский царь.

С. 100. *Щуйский* — Скопин-Шуйский М. В. (1586—1610), талантливый русский полководец, боровшийся с польско-шведскими интервентами.

С. 107. *Лисовский* Александр — польский военачальник.

С. 112. *Феодор* — царь Федор Иоаннович (1557—1598), сын Грозного.

Рында — телохранитель царя.

Лейтенант Белозор

Эпиграф — из стихотворения Пушкина «К морю» (1824).

С. 121. *Фальшфейер* — сигнальный огонь.

С. 122. *Шканцы* — верхняя палуба.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763—1831) — русский флотоводец, в 1805—1807 годах командовал русским флотом в Средиземном море.

С. 129. Эпиграф — из трагедии В. Шекспира «Ричард III» (1592).

С. 131. *Линек* — обрезок каната, применявшийся на флоте для наказания матросов.

С. 132. *Эней* — один из троянских героев, воин-путешественник, герой поэмы римского поэта Вергилия «Энеида».

С. 136. *...короля Луциана...* — Луи Бонапарт (1775—1840), брат Наполеона, в 1806—1810 годах король Голландии.

С. 138. *Иона* — один из библейских пророков, побывавший в чреве кита.

С. 141. *Гебея* — Геба, богиня юности в греческой мифологии, выполнявшая на пирах богов обязанности виночерпия.

Брюсов календарь — составлен библиотекарем В. Киприяновым, впервые вышел в 1709 году, содержал астрологические предсказания.

С. 142. *Пико де ла Мирандола* Джованни (1463—1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения.

Рюйтер Михаил-Адрансон (1607—1676) — голландский адмирал.

С. 143. *Оранжесты* — сторонники династии Оранских.

Бурмицкие зерна — крупный жемчуг.

Воздушные вавилонские сады... — Были сделаны в древнем Ва-

вилоне для царицы Семирамиды и считались одним из «семи чудес света».

С. 145. *Альгамбра* — мавританский дворец в испанском городе Гранада, известный А. Бестужеву по описаниям американского романтика Вашингтона Ирвинга.

Аргусовы очи... — Тело одного из героев греческой мифологии великана Аргуса было покрыто множеством глаз.

С. 146. *Конфуций* (551—479 до н. э.) — китайский философ.

Теньер — Тенирс Давид Младший (1610—1690), фламандский художник.

Ван дер Неер (1603—1677) — голландский художник.

Остаде Адриан ван (1610—1685) — голландский художник.

Вуверман Филипп (1619—1668) — голландский художник.

Витт Ян (1625—1672) — голландский политический деятель.

С. 147. *Бинг* Джон (1704—1757) — английский адмирал.

Кальян — восточный курительный прибор.

Типпо-Саиб (1750—1799) — индийский раджа, боровшийся с английскими колонизаторами.

Генрих IV (1553—1610) — французский король.

Элевзинские таинства — религиозные праздники для посвященных в Древней Греции.

С. 148. *Экклезиаст* — одна из книг Библии.

Манфред — герой одноименной поэмы Байрона.

С. 149. *Пруд Марли* — находился возле одного из дворцов Петергофа.

С. 157. *Парни* Эварист (1753—1814) — французский поэт.

С. 160. *Филиппика* — обличительная речь.

Эпиграф — из поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька» (1775).

С. 166. *Элизиум* — здесь: рай.

С. 172. *Франциск I* (1494—1547) — французский король.

С. 173. *Фуше* Жозеф (1759—1820) — французский министр полиции.

Рыцарь Меркуриева жезла — купец.

С. 175. *Монтань* — Монтень Мишель де (1533—1592), известный французский писатель.

Эпиграф — из комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки» (1818).

С. 177. *Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница.

С. 180. *Обручение дожа с морем...* — В Венецианской республике новый глава государства — дож выходил в море на корабле и бросал в волны кольцо — символический знак обручения со стихией.

Эпиграф — из «Послания к слугам моим» Д. И. Фонвизина (1763).

С. 186. *Смоглер* — контрабандист.

С. 191. *Тартана* — клетчатая шотландская материя.

С. 193. *Юнгфров* (гол.) — барышня.

Буцефал — кличка коня Александра Македонского.

С. 195. Эпиграф — из басни Крылова «Ворона и курица» (1812).

С. 196. *Брандвахта* — сторожевое судно.

С. 197. *Тендер* — небольшое парусное судно.

Бугшприт — наклонная мачта на носу корабля.

С. 201. *Фальконет* — небольшое орудие.

С. 202. *Брандер* — зажигательное судно.

С. 207. *Термин* — в римской мифологии божество границ, разделявших земельные участки.

Мореход Никитин

С. 211. *Шитик* — деревянное судно поморов.

Ситка — русская колония в Северной Америке.

С. 212. ...сочинителей всех темных, пестрых и голубых сказок...—

намек на «Пестрые сказки» (1833) писателя-романтика В. Ф. Одоевского.

С. 213. *Барон Брамбеус* — псевдоним О. И. Сенковского (1800—1858), писателя и издателя журнала «Библиотека для чтения».

Кювье Жорж (1769—1832) — французский ученый.

С. 219. *Капер* — вооруженное судно, владелец которого на время войны получил от правительства разрешение захватывать торговые суда неприятеля.

...*Тогда с англичанами была война...* — После Тильзитского мира (1807) Россия присоединилась к объявленной Наполеоном континентальной блокаде Англии.

С. 221. *Альциона* — альбатрос, морская птица.

Диез — в музыке нотный знак повышения звука на полтона.

С. 224. «*Записки*» *Трелонея* — мемуары английского писателя, друга Байрона.

«*Последняя нескромность современницы*» — записки французской авантюристки де Фонье.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книготорговец и издатель.

Жоанно Т. (ум. 1853) — французский художник.

Видок Э. Ф. (1775—1857) — французский сыщик, которому приписывались знаменитые воспоминания.

«*Жильбаз*» — роман французского писателя А. Р. Лесажа.

С. 225. *Крупчатик* — белый хлеб.

Караван-сарай — постоялый двор на Востоке.

С. 230. *Бюффон* Ж. (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

С. 232. *Шейлок* — персонаж пьесы В. Шекспира «Венецианский купец».

Попель — легендарный король, отравивший своих родственников и съеденный мышами.

С. 232. *Касьянов день* — 29 февраля.

Годдемы — английские ругательства.

С. 233. *Куттер* — небольшой корабль.

Каронада — крупнокалиберное орудие.

Цепное ядро — два ядра, соединенных цепью; применялись для уничтожения мачт и парусов.

С. 235. *Джиги* — английский быстрый танец.

С. 238. *Канал* — пролив Ла-Манш.

Герои красного флага — английский военно-морской флаг красного цвета, с маленьким квадратом национального флага в верхнем левом углу.

С. 240. *Суп из костей* — дешевый суп из разных пищевых отходов, изобретенный английским физиком Б. Румфордом-Томсоном (1753—1814).

Нетленный суп — консервы.

С. 246. *Подвиг Долгорукого* — Я. Ф. Долгорукий (1639—1720), попавший в шведский плен под Нарвой, захватил шведское судно и вернулся на нем в Россию.

Красное покрывало

С. 247. *Арзерум* — город в Турции, взятый русскими войсками.

С. 249. *Ювенал Децим Юний* (ок. 60 — ок. 140) — римский поэт-сатирик.

С. 252. *Татарский язык...* — Бестужев очень хорошо его знал, собирал песни и легенды горцев.

Азрафил — ангел смерти в мусульманской мифологии.

С. 254. *Архалук* — восточное одеяние в виде халата.

Он был убит

С. 258. *Феникс* — в древнегреческой мифологии волшебная птица, сама себя сжигающая и живой возрождающаяся из пепла.

С. 259. *Чингисхан* (Темучин) (ок. 1155—1227) — основатель единого Монгольского государства.

Ванька Каин — знаменитый сыщик и вор, наводивший ужас на жителей Москвы в середине XVIII века.

С. 261. *Меч Дамокла* — постоянно грозящая опасность.

С. 263. *Гамлетовы гробокопы* — могильщики из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601).

С. 264. *Куски Геркулесовой кожи* — согласно греческой мифологии жена Геркулеса (Геракла) Деянира пропитала ядовитой кровью кентавра Несса одежду мужа, и тот погиб в мучениях.

С. 267. *Россини* Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор.

С. 268. *Гюго* Виктор (1802—1885) — французский поэт-романтик. *Озерная школа* — кружок английских поэтов-романтиков.

С. 270. *Цитата* — из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

Гальванизм — электричество.

С. 271. *Маммон* — бог богатства.

С. 272. *Дождь Данаи* — здесь: золото.

С. 277. *Армида* — волшебница из поэмы итальянского писателя Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580).

С. 278. *Фуражировка* — заготовка войсками продовольствия и корма для коней.

Шансуг — представитель одного из адыгейских племен.

Абрек — горец-разбойник.

С. 281. *Тигр* — река в Ираке.

Муравленые — покрытые изразцами.

С. 282. *Фалерн* — вино древних римлян.

С. 285. *Шамберген* — французское вино.

С. 286. *Бекеш* — теплая шинель.

С. 290. *Духи из Макбетова котла* — ведьмы в трагедии В. Шекспира «Макбет» (1606).

С. 291. *Цитата* — из стихотворения Пушкина «К Морфею» (1816).

С. 298. *Натухайцы* — горское племя.

Каменский Михаил Федотович (1738—1809) — русский полководец, герой войн с турками.

С. 300. *Пук и Ариель* — персонажи комедии Шекспира «Буря».

С. 304. *Стикс* — в греческой мифологии река подземного царства, где обитали души умерших.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Сахаров. Чудесная живость</i>	3
Роман и Ольга. <i>Старинная повесть</i>	19
Ревельский турнир	58
Изменник. <i>Повесть</i>	97
Лейтенант Белозор	120
Мореход Никитин. <i>Быль</i>	209
Красное покрывало. <i>Сцена из походной жизни</i> . . .	247
Он был убит	257
Примечания	306

Бестужев-Марлинский А. А.

- Б53** Ревельский турнир: Ист. повести/Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Сахарова.— М.: Сов. Россия, 1984.— 320 с.

Александр Александрович Бестужев-Марлинский — поэт, прозаик, публицист начала XIX века, участник декабристского движения, член тайного Северного общества. 14 декабря 1825 года он вывел на Сенатскую площадь Московский полк. Был приговорен к смертной казни, замененной сначала каторгой, затем ссылкой в Якутск. В 1829 году переведен рядовым на Кавказ, где и погиб.

В настоящий сборник включены: «Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Изменник» и др.

Б 4803010101—032 224—84
М-105(03)84

Р1

Для детей старшего школьного возраста

Александр Александрович Бестужев-Марлинский

РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

Редактор Ю. Н. Афанасьева

Художественный редактор М. В. Таирова

Технические редакторы Н. П. Карасик, И. И. Капитонова

Корректоры

Т. В. Новикова, Л. В. Конкина, Э. З. Сергеева

ИБ № 3328

Сдано в набор 19.03.84. Подп. в печать 02.08.84. А05923. Формат 70×108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,00. Усл. кр.-отг. 14,00. Уч.-изд. л. 15,15. Тираж 100 000 экз. Заказ 1131. Цена 65 к. Изд. инд. ЛД-528.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Дурова Н. А. Избранное.

В издание, приуроченное к 200-летию со дня рождения русской писательницы Надежды Андреевны Дуровой, вошли избранные произведения: «Кавалерист-девица» — записки об Отечественной войне 1812 года, участницей которой была Дурова, ее «Автобиография» и повесть «Павильон».

